

А. И. НЕМИРОВСКИЙ

У ИСТОКОВ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ  
МЫСЛИ



А. И. НЕМИРОВСКИЙ

У ИСТОКОВ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ  
МЫСЛИ



ВОРОНЕЖ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ВОРОНЕЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
1979

В книге исследованы проблемы возникновения античной историографии и процесс ее развития в закономерных связях с другими литературными и научными формами, в ее обусловленности социальными отношениями и политической борьбой. На основе анализа трудов Фукидида, Полибия, Саллюстия, Ливия, Лукяна делается попытка выявления теоретических аспектов античной исторической мысли.

Монография рассчитана на историков, филологов, а также более широкий круг читателей, интересующихся философскими проблемами становления научных знаний.

Печатается по постановлению  
Редакционно-издательского совета  
Воронежского университета

Рецензенты:  
проф. А. С. Шофман,  
доц. И. И. Романова

## От автора

История в античном мире была одной из наиболее развитых сфер применения мысли и литературного творчества. В эпоху господства полисного строя историков имел почти каждый из многочисленных городов-государств как собственно Греции, так и колониальной периферии античного мира. Мы знаем о существовании историков не только в Афинах, Коринфе, Милете и других ведущих государствах, но и в таких отдаленных, расположенных на разных концах греческой ойкумены полисах, как Массалия и Херсонес Таврический. В эпоху эллинизма число лиц, писавших истории, еще более возрастает. Историки тогда жили при дворцах монархов. Были историки Александра Македонского, Птолемеев, Селевкидов, Митридата VI Евпатора и Тиграна Великого. Исторические труды на греческом языке писались не только греками, но и сирийцами, вавилонянами, египтянами, иудеями, африканцами.

Изучение произведений древних историков имеет большую традицию как в нашей стране, так и в странах Западной Европы и Америки. Труды русских ученых XIX и начала XX века наряду с оценкой произведений Геродота, Фукидида, Полибия, Саллюстия как исторических источников содержат немало ценных соображений об этих авторах. Однако освещение кардинальных проблем античной историографии в нашей науке еще не занимает того места, которого они заслуживают по своему теоретическому значению, особенно если учесть то обстоятельство, что в последние годы в этой области зарубежными учеными написано много трудов и выдвинуто немало спорных теорий и гипотез.

На первом месте в нашей книге стоит проблема возникновения истории как осмысления пройденного человечеством пути. Отмечая заслуги народов Востока в фиксации исторических фактов и выработке историографических приемов, мы, однако, склоняемся к мысли, что история как предшественница исторической науки нового времени

возникает в VI—V вв. до н. э. и имеет своей родиной греческие города-государства.

Преобладающей формой мышления людей античного мира был диалог. Каждый из крупных философов, публицистов, историков античности вел внутренний спор с неким собеседником, опровергая его доводы и развертывая в процессе опровержения собственную систему доказательств. Чтобы каким-то образом приблизиться к этому чуждому нам диалогическому образу мышления античного мира, мы излагаем материал в естественном для античности порядке, при котором Фукидид оказывается антагонистом близкого к нему по времени Геродота, Аристотель — Платона, Саллюстий — Ливия. Полибий в нашем изложении соединен с эллинистической историографией, в полемике с которой он вырос как выдающийся мыслитель и историк.

Помимо тех преимуществ, какие эта форма изложения дает для понимания каждого историка как человека своей эпохи, она избавляет от необходимости подробного рассмотрения биографий историков. Нам было достаточно выделить то, что объединяет двух мыслителей как учителя и ученика, зачинателя и последователя, и то, что их разделяет в личной судьбе и в понимании стоящих перед ними задач.

В то же время мы избегаем бесплодного противопоставления одного древнего историка другому. История классической филологии нового времени укрепляет нас в этом подходе, поскольку за колебаниями оценок корифеев античной историографии мы не обнаруживаем научных критериев, позволяющих поставить одного историка выше, чем другого. Геродот и Фукидид для нас две равновеликие вершины, открывающиеся во всех своих преимуществах и недостатках в зависимости от того угла зрения, который занимает наблюдатель.

Изучая сменяющие, нередко продолжающие друг друга исторические труды, мы обнаруживаем в них великое множество идей, в зависимости от условий эпохи, которая их породила, и индивидуальности историка. Но при всем разнообразии и пестроте материала можно усмотреть нити, связующие самые ранние образцы исторического жанра с более поздними. Они образуют основу той неповторимой ткани исторического повествования, которую мы называем античной историографией. Выделение ее особенностей — одна из главных задач нашего труда.

История не только в нашем мире, но уже в древности была одной из наиболее всеобъемлющих научных дисциплин. Наряду с тем ее пониманием, которое включало все, что относится к существованию и деятельности народов, государств, отдельных людей, имелось и другое, более широкое, охватывающее не только судьбы человеческого рода, но и эволюцию природы, а также многообразные, всепроникающие связи между человеком и природой. Если историки прагматического направления ставили своей целью проследить на фактическом материале возвышение одних государств и падение других, завоевания, образования колоний, то историки-философы ставили более широкие проблемы — возникновение человечества, языка, семьи, государства, религии, влияние природы на формирование человеческих рас и многое другое. Их труды обнимали все многообразие мира как живого, так и неживого. Они были не историками одного какого-либо народа, а исследователями человечества как части природы.

Представители философского направления античной исторической мысли свысока смотрели на тех историков, которые просто собирали факты и излагали их в занимательной форме. Геродот для них был не «отцом истории», а скорее «отцом лжи», поскольку история в их понимании — это не изложение того, что случилось с людьми, а осмысление закономерного, обусловленного самой природой развития человеческого рода.

Все это говорит о том, что исследователь античной историографии не может ограничиться произведениями историков в узком значении этого слова, а должен держать в поле своего зрения труды, посвященные естественно-научным и историко-философским проблемам.

Для понимания значения того или иного античного историка нередко его сопоставляют с предшественником, выявляя особенности мировоззрения, подхода к источникам, технических приемов. Этот сравнительный метод проводится нами последовательно и определяет структуру труда. При выборе пар историков мы руководствовались реальной зависимостью одного историка от другого, в качестве старшего и младшего современников, учителя и ученика, нередко шедших разными путями. Соблюдение этого принципа не только устраняет субъективизм и антиисторизм античных параллельных жизнеописаний, но позволяет выявить, как изменение социальной и политиче-

ской обстановки сказывалось на состоянии исторической мысли в каждый отдельный период.

Наша работа возникла в ходе чтения лекций и руководства спецсеминарами по теме «Историография античности» в соответствии с созданной нами программой<sup>1</sup>. Она охватывает часть раздела «Развитие исторической мысли в древности» и призвана ввести студентов, получающих специализацию по кафедре истории древнего мира, в проблематику исторической мысли древнего мира.

<sup>1</sup> Немировский А. И. Программа спецкурса «Историография античности». Воронеж, 1974.

# Глава I

## ПЕРВЫЕ ГРЕЧЕСКИЕ ИСТОРИКИ

Среди проблем, которые выдвигает история как рассказ о пути, проделанном человечеством, и как форма его познания, может быть, самой сложной является она сама. Когда и в силу каких обстоятельств возникло то миропонимание, которое мы называем историческим? Каковы закономерности развития исторической дисциплины и ее периодизация? Как осуществляется связь истории с другими формами мышления и литературными жанрами? Эти и подобные им вопросы неоднократно ставились в разные эпохи и решались в соответствии с установками и принципами различных философско-исторических школ и направлений.

Наибольшее влияние на образование стереотипных представлений о начале исторической мысли в древности оказала концепция Ф. Крейцера, сформулированная им в самом начале прошлого века<sup>1</sup>. Представитель романтического направления, Крейцер исходил из понимания гомеровской эпохи как времени примитивного общественного состояния, соответствующего дикости отсталых народов, без государства, без письменности и сколько-нибудь надежных сведений о прошлом. Последнее якобы представлялось грекам исключительно в легендарном свете, и поэтому праотцами историков были мифографы, лица, осуществившие запись мифов и их поэтическую обработку.

<sup>1</sup> Creuzer F. Die Historische Kunst der Griechen in ihrer Entstehung und Fortbildung. Leipzig, 1845. Разбор взглядов Фр. Крейцера см.: Momigliano A. Friedrich Creuzer and Greek historiography.— Journal of the Warburg and Courtault Institutes, 1964, IX, p. 152.

Мифографов, к которым Крейцер относил Гомера и Гесиода, сменили логографы, авторы VI и первой половины V в. до н. э., отличавшиеся от поэтов тем, что излагали мифы в прозаической форме. Первые историки появились во второй половине V в. до н. э. Это были Геродот и Фукидид.

Простота и, казалось бы, логичность этой схемы из трех стадий развития исторических знаний — мифография, логография, история — обеспечили ей признание<sup>2</sup>. Она была полностью воспринята позитивистами, усилившими присутствующую в ней негативную оценку архаической греческой историографии. С их точки зрения, греческая историческая мысль только в лице Фукидида поднялась на уровень научного знания. У Фукидида не было предшественников, а сам он возник как чудо. Без него греческая историография осталась бы на первоначальном мифологическом уровне<sup>3</sup>. Предпринятый О. Шпенглером пересмотр плоской позитивистской схемы поступательного развития коснулся и интересующей нас проблемы, однако в плане переоценки исторической мысли греков в целом. Шпенглер охарактеризовал мысль греков как геометрическую, визуальную, аисторичную. С его точки зрения, греки — самый аисторичный народ земли<sup>4</sup>.

Тезис Шпенглера вызвал резкие возражения со стороны филологов и историков античности. Согласно У. Вилламовицу-Меллендорфу, Геродот по праву носит титул «отца истории», так же, как им может быть назван и Фукидид, «ибо вся наша историография основывается на началах, заложенных греками, равно как и наши естественные

---

<sup>2</sup> Правда, еще в прошлом веке с развернутой критикой схемы Крейцера выступил М. С. Куторга (см. Куторга М. С. О различных видах бытоописания у древних эллинов.— Собр. соч. Спб., 1896, т. II, с. 25 и сл.). Русский ученый отверг положения Крейцера как не соответствующие свидетельствам древних и несостоятельные, а термин «логографы» как ошибочный. С. Я. Лурье также считает термин «логографы» неудачным (Лурье С. Я. Очерки по истории исторической науки. М.—Л., 1947, с. 51). Однако он ошибается, когда утверждает, будто этим словом Геродот называл своего предшественника Гекатея. На самом деле, Геродот называл Гекатея *logopois* (II, 143). Впервые слово *logogarthos* встречается у Фукидида в применении к своим предшественникам и, прежде всего, к Геродоту в уничижительном смысле — «рассказчик басен» (I, 21, 1).

<sup>3</sup> См.: Бузескул В. Введение в историю Греции. Пг., 1915, с. 84.

<sup>4</sup> Schpengler O. *Untergang des Abendlandes*. München, 1920, Bd. I.

науки»<sup>5</sup>. Чтобы это доказать, Виламовиц охватывает взглядом весь древний мир и даже выходит за его пределы. Он находит в Ветхом завете и у арабов после Мухаммеда отдельные исторические описания высокого значения. «Однако у семитов отсутствовало то самое качество, которое позволило грекам превратить историографию в определенно-го рода искусство. Они имели исторические сочинения, но не имели историков»<sup>6</sup>.

Еще более определенно на этот счет высказался В. Шадевальдт: «Способность греков мыслить исторически и писать историю заложена в сути этого гениального народа. До греков народы лишь переживали и делали историю. Но они не писали истории, потому что то, что они совершали, они не понимали как историю»<sup>7</sup>.

В последнее время мысль О. Шпенглера об аисторизме греков нашла поддержку у ряда философов и теологов, поставивших своей целью сравнить греческое мышление с мышлением ветхозаветным. С точки зрения нидерландского философа Г. Бомана, даже Фукидид был далек от историзма, ибо история понималась им как вечное повторение одних и тех же событий и явлений<sup>8</sup>. Статизму греческой мысли Боман противопоставляет библейский динамизм. Большинство ветхозаветных книг якобы исторично, поскольку история понимается Библией как движение. Там, где Боман обнаруживает в эллинском мышлении элементы динамики, он приписывает их восточному влиянию. Так он поступает, например, с не укладывающейся в его схему диалектикой Гераклита, которую он считает «негреческой», и возникшей благодаря прямому или косвенному воздействию Востока.

Националистическая недооценка вклада народов Востока в формирование исторического мышления и противоположная тенденция — преувеличение историзма религиозных книг Библии делают весьма актуальной разработку указанной проблемы.

Не подлежит сомнению, что зачатки исторических зна-

---

<sup>5</sup> Wilamowitz-Moellendorf U. On Greek historical Writing. Reden und Vorträge, 1926, II, p. 4.

<sup>6</sup> Ibid, p. 6.

<sup>7</sup> Schadewaldt W. Die Antike, 1934, S. 144. Трудно сказать, связано ли отрицание В. Шадевальдтом историзма у других народов с влиянием нацистской идеологии.

<sup>8</sup> Boman G. Das hebräische Denken im Vergleich mit den Griechischen. Göttingen, 1959; Бычков В. В. Эстетика Филона Александрийского. — ВДИ, 1975, № 3, с. 59 и сл.

ний возникли на Востоке вместе с появлением государства и созданием письменности. На Востоке появилась и древнейшая форма исторического труда — летопись. Летописцы древнего Египта, судя по сохранившимся текстам, фиксировали важнейшие события того или иного царствования. О тенденциозности первых исторических записей можно судить по Палермскому камню (середина III тыс. до н. э.), преувеличивающему размеры захваченной добычи, число убитых врагов и умалчивающему о потерях египтян<sup>9</sup>. Писцы эпохи Нового царства также не ставили своей целью осмыслить исторические явления и процессы. Их хроники — это фиксация событий современности с целью их увековечить и сохранить для потомков. Летописи носили официальный характер, составлялись по приказу царя, в них отсутствовала личность историка и его отношение к описываемым событиям. Таким образом, египетские царские хроники мало чем напоминали исторические труды греков с их широким охватом событий и стремлением выявить причинные связи.

Л. Булл, стремясь выявить «идею истории» у древних египтян, приходит к выводу, что ни один из древнеегипетских текстов не содержит намека о существовании такого понятия, как нет ни одного древнеегипетского слова со значением, соответствующим нашему «история»<sup>10</sup>. К этому можно добавить, что в египетском пантеоне нет божества, занимающего место греческой Клио. Богиня Сешат считалась изобретательницей и госпожой письма, начальницей библиотек и школ, регистраторшей захваченной фараонами военной добычи, составительницей анналов, покровительницей писцов. История была частью ее обязанностей как богини судьбы<sup>11</sup>.

Литература древних народов Месопотамии, несмотря на все ее разнообразие и богатство, также не сохранила каких-либо следов исторического мышления. Выдающийся знаток шумерийской литературы С. Н. Крамер пишет: «В Шумере не было историографов в общепринятом смысле этого слова... Ни один из шумерских писцов и авторов, насколько нам известно, даже не пытался создать что-

---

<sup>9</sup> Ancients records of Egypt, ed. H. Breasted. Chicago, 1927, vol. I, p. 57.

<sup>10</sup> Bull L. Ancient Egypt.—The Idea of History in the Ancient Near East. New-Haven—London, 1966, p. 1 sqq.

<sup>11</sup> Иначе: Dia Abou-Char. Seschat die Klio der Ägypter.—Das Altertum, 1969, Bd. 15, Heft 4, S. 195 sqq.

либо похожее на описание политической или общей истории Шумера... не говоря уже об истории остальной известной им части мира»<sup>12</sup>. Р. Коллингвуд также не находит у шумеров и других народов Ближнего Востока «идеи истории» (т. е. концепции о прошлом народа или всего человечества. — А. Н.)<sup>13</sup>. По его мнению, творцы древневосточных культур создали лишь псевдоисторию в двух ее разновидностях: 1. Теократическую историю, в которой бо-жества выступают как сверхъестественные правители человеческих обществ; 2. Миф, действующими лицами которого являются всегда боги и герои и никогда — люди.

Идея истории не была знакома и хеттам, хотя последние более, чем какой-либо другой народ Передней Азии, приблизились к пониманию задач историографии<sup>14</sup>. В одном из декретов царя Телепина (XVI в. до н. э.) имеется историческое введение. Летопись Хаттусилиса I представляет собой реляцию о победах царя над городами Малой Азии и Сирии с подробным перечислением захваченных трофеев и даров богам. Примечательно упоминание в летописи имени Саргона II, воевавшего в этой местности за шесть веков до хеттов. Сравнивая себя с аккадским завоевателем, хеттский царь подчеркивает, что его победа была более полной и закончилась уничтожением городов и унижением противника. О дальнейшем развитии исторического жанра свидетельствуют летописи Суппилулиумаса II и Мурсилиса II (Новохеттское царство). Здесь составитель выходит за рамки официозного перечня побед и царских жертвоприношений и раскрывает на ряде примеров хеттскую политику в завоеванной Сирии, отношения с Египтом, общественный строй племен каска. Все это дало основание В. В. Иванову назвать составителя царских летописей Суппилулиумаса II и Мурсилиса II «выдающимся писателем-историком».

Исключительным богатством содержания отличается автобиография Хаттусилиса III (1283—1260 гг. до н. э.).

<sup>12</sup> Крамер С. Н. История начинается в Шумере. М., 1965, с. 46—47.

<sup>13</sup> Collingwood R. G. The Idea of History. Oxford, 1946.

<sup>14</sup> Русский перевод хеттских исторических текстов см.: Луна, упавшая с неба. Древняя литература Малой Азии. М., 1977. О хеттской историографии см.: Kammenhuber A. Die hettitische Geschichtsschreibung. — Saeculum, 1958, № 9, S. 136; Вейнберг И. П. К вопросу об особенностях исторического мышления на Древнем Ближнем Востоке. — Вопросы древней истории. Кавказско-Ближневосточный сборник. Тбилиси, 1977, с. 69.

Из нее мы узнаем об испытаниях, которые выпали на долю хеттского царевича после смерти его отца и до тех пор, пока он сам не стал великим царем. В поле зрения автора не только царский двор и хеттское государство, но вся Малая Азия и Передний Восток. Все свои успехи и продвижение к царскому трону Хаттусилис III объясняет тем, что он пользовался покровительством хурритской богини Иштар, культ которой был им введен в хеттскую религию. Иштар спасала его от болезней, очищала от клеветы, отвращала врагов, оправдывала все его действия, сколь бы сомнительными они бы ни казались с точки зрения обыкновенной морали.

Под влиянием хеттской исторической литературы складывается литература ассирийцев, с жанром царских анналов. Их безымянные авторы вводят в свои труды как реальные, так и вымышленные речи действующих лиц, описывают театр военных действий. Однако ассирийские царские летописи так же, как и египетские, имеют главной темой прославление царских побед и полны фантастических преувеличений. В них нет даже намека на объективную оценку противника, которую мы находим у Геродота в его описании варваров. Для ассирийской историографической практики не менее, чем для египетской, характерна прямая фальсификация, выкабливание в надписях одних имен царей и замена другими. Ассирийский царь Набу-Насир приказал даже уничтожить анналы своих предшественников<sup>15</sup>.

К завершающему этапу развития древневосточной литературы принадлежит Библия — сборник религиозных текстов Древней Палестины. В силу своего позднего происхождения Библия объединила все, что дал Древний Передний Восток в области осмысления исторического процесса и продвинула историографию на более высокую ступень. Пережитая трагедия — разрушение самостоятельного государства и депортация в Вавилон — была воспринята как драма всего человечества, требующая не просто пересказа в духе старинных хроник, а осмысления в философско-историческом плане. Разрушение исторической почвы, на которой сложилось рабовладельческое государство как социальная реальность, способствовало абстрактизации всех по-

---

<sup>15</sup> Об ассирийской историографии см.: Olmstead A. T. *Assyrian historiography*.— Univ. of Missouri Studies, 1916, ser. III, vol. 1.

нятий и появлению того, что может быть названо исторической идеей.

Носителем ее является не какая-либо реальная общественная сила, не царская власть или конкретный царь, а монотеистическое божество. Лишенное храма и государственного культа, оно стало воплощенной историей и могло бы сказать о себе: «История — это я!»<sup>16</sup>.

Отдавая должное Ветхому Завету в области осмысления истории, мы не можем согласиться с теми преувеличенными оценками историзма Библии, которыми изобилует современная историко-философская литература. В ряде работ мы сталкиваемся с утверждением, что современное понимание истории коренится в ветхозаветных сказаниях, а не в греческой историографии и философии. Ветхий завет объявляется колыбелью современной историографии<sup>17</sup>.

Как мы уже указывали, в основе суждений современных защитников приоритета Библии в истории исторической мысли лежит представление о коренном различии типов мышления эллинов и древних евреев. Для первого якобы наибольшую роль играло пространство, для второго — время. Первое открывало бога в природе, второе — в истории. Из этого делается вывод об аисторичности и мифологичности эллинского мышления и об историчности мышления ветхозаветного.

Критикуя это проявление экзистенциалистской философии в интересующей нас области, С. Мадзарينو указывает: «Априори кажется абсурдным, что именно народ, которому мы обязаны крупнейшими произведениями историографии всего мира, рассматривается как аисторичный в своей основе»<sup>18</sup>. Тезис о позднем появлении греческой историографии, из которого исходят сторонники приоритета Библии, как мы уже говорили, выдвинут Крейцером в самом начале прошлого века и развит позитивистами (Мадзарино называет его «позитивистской басней»). Он,

<sup>16</sup> В этом смысле можно вслед за В. Ирвином сказать, что «ветхозаветное историческое мышление создало нечто принципиально новое — всемирную историю» (Irwin W. A. The Hebrews.— In: The Intellectual Adventure of Ancient Man. Chicago, 1946, p. 318). См. также: Вейнберг И. П. Указ. соч., с. 80; Он же. Материалы к изучению древнеближневосточной исторической мысли. Древний Восток. Ереван, 1978, № 3, с. 230 и сл.

<sup>17</sup> Cohen M. R. The Meaning of Human History. La Salle, 1961, p. 11.

<sup>18</sup> Mazzarino S. Il Pensiero storico classico. Roma, 1973, p. 5.

как мы попытаемся показать, не выдерживает критики. Аисторичность эллинского мышления выводится приверженцами экзистенциализма из анализа трудов классиков греческой философии, прежде всего Платона, занимающего особое место. Между тем только сопоставление трудов классиков греческой историографии и Библии может дать ответ, что исторично, а что аисторично.

Пятикнижие представляет собой псевдоисторическое произведение, целью которого является изложить как реальность мифы и предания, распространенные в Передней Азии, и соединить с ними судьбу еврейского народа. История начинается с сотворения мира, изложенного таким образом, что творцом является не какой-либо иной бог или боги, а Яхве — бог Израиля. Ему же приписывается руководство Авраамом, Моисеем и авторство ветхозаветных законов. Бог выступает как спаситель народа на Красном море, и все другие удачи, выпавшие на его долю, — это заслуга бога. Таким образом, в своей начальной части Ветхий завет — это «история» деяний бога, «история» его отношений к «избранному народу». Исторические факты приносятся в угоду жреческой идее всемогущего бога Яхве и его особого отношения к евреям. Несколько более историчны книги Царств, основанные на царских хрониках. Но и здесь факты получают тенденциозное, выгодное жречеству освещение. Бог Израиля рисуется как покровитель царской власти, дарующий ей авторитет у своего народа и победу над другими народами. По его воле создаются и рушатся царства.

Эта последняя мысль проявляется и в той периодизации историй, которая считается выражением всемирно-исторической концепции Библии. Анализируя пророчество Даниила, которое содержит эту периодизацию по четырем царствам, мы не можем даже установить, какие царства имелись в виду — 1. Ассирийское; 2. Халдейское; 3. Мидийское; 4. Персидское или 1. Халдейское; 2. Мидийское; 3. Персидское; 4. Держава Александра Македонского или 1. Халдейское; 2. Мидоперсидское; 3. Держава Александра Македонского; 4. Держава Селевкидов. В тексте можно найти основания для каждой из трех «четверок». Создается впечатление, что это такая «гибкая» периодизация, которая может растягиваться до бесконечности. Не случайно впоследствии христианские авторы «последним царством» стали считать римскую империю. Неизменным в этой периодизации является лишь число «четыре» и эсхато-

логическая идея прихода пятого «вечного» божьего царства. Где же тут историзм? Не является ли это проявлением беззастенчивого обращения с материалом источников, которое характерно для других древневосточных историографий?

Обзор произведений древневосточной литературы показал нам ошибочность как тех утверждений, что Восток ничего не дал в области исторической мысли, так и мнения, что историческая мысль некоторых древневосточных народов была выше исторической мысли греков. Суждение, будто историческая мысль народов Древнего Востока не оказывала на греков влияния<sup>19</sup> также противоречит источникам.

В этом отношении весьма интересна оценка греками исторических знаний египтян. Геродот не только с большой похвалой отзывается об египтянах, более всех сохраняющих память человеческих дел и разбирающихся в истории своей страны лучше всех людей, с какими ему приходилось встречаться (Herod., II, 77), но и рисует египетских жрецов как учителей греков в истории. Они посрамили ионийского историка Гекатея, претендовавшего на происхождение от богов в шестнадцатом колене, показав ему статуи верховных жрецов фиванского «Зевса» 345 поколений (Herod., II, 1). Этим они не только «оспаривали происхождение человека от бога», как подчеркивает Геродот, но и показывали, что их достоверные знания о прошлом простираются на пять тысяч лет, в то время как у Гекатея они не заходили за Троянскую войну. О египетских жрецах, как знатоках глубокой древности и учителях греков в истории, говорит также Платон (Tim, 21, с).

Свидетельства Геродота и Платона говорят о непосредственном влиянии исторических знаний народов Востока на формирование греческой историографии, не говоря уже о косвенном воздействии высокоразвитых культур, обладающих письменностью и литературой. В то же время возникновение исторической мысли у греков не может быть объяснено одним восточным влиянием. Она является ре-

---

<sup>19</sup> Такова точка зрения Д. Русселя: «Если восточные народы сыграли какую-либо роль в последующем возникновении греческой историографии, то не благодаря своей письменности, анналам или хроникам, но благодаря самому своему существованию, благодаря своим особым обычаям, определенным устным рассказам, которые были восприняты греческими колонистами и путешественниками» (Rous- sel D. Les historiens grecs. P., 1973, p. 15).

зультатом сложного процесса, обусловленного историческим развитием самой Греции.

Документы хозяйственной отчетности дворцов Кносса, Микен, Пилоса допускают наличие в крито-микенскую эпоху анналов или хроник, подобных тем, какие имелись в Египте и Ассирии. Однако из-за отсутствия следов анналистической литературы эгейского мира исходной точкой при изучении рождения исторической мысли в Греции могут быть взяты лишь поэмы Гомера.

Расширение наших знаний о начальных временах греческой истории по-новому поставило вопрос о месте Гомера в развитии литературы и, в более широком плане, культуры. Если прежде в Гомере видели поэта, систематизировавшего греческие мифы в интересах аристократических родов, то теперь его готовы считать первым борцом против религиозно-мифологического мышления как идеологии аристократического общества<sup>20</sup>. В плане этой переоценки Гомера интересна работа Г. Штрасбургера «Гомер и историография»<sup>21</sup>. Г. Штрасбургер считает возможным говорить о влиянии Гомера на греческих историков не только в области языка и стиля, но и в том, что мы называем научной основой греческой историографии. Он возводит к Гомеру геродотову формулировку цели исторического труда, полагает, что в двенадцати первых строках «Илиады» заключено все последующее учение Фукидида о причинах. С его точки зрения, Гомер возвышается над всеми восточными царскими хрониками своим объективным отношением к враждебным грекам народам, а также к низшим общественным классам. Гомер является наставником последующих историков в отборе материала, в хронологии, в оценке роли личности в истории.

При таком подходе к проблеме — Гомер и историография — смысается всякая грань между мифологическим и историческим мышлением. Взамен этих понятий, отражающих реальные перемены в идеологии греческого общества эпохи великой колонизации, Штрасбургер предлагает принять предложенный Г. Берве термин «героически-агональное мышление»<sup>22</sup>. Оно якобы охватывает частную и

---

<sup>20</sup> Vernant J. R. Les origines de la pensée grecque. P., 1962, p. 103.

<sup>21</sup> Strassburger H. Homer und Geschichtsschreibung. Heidelberg, 1972, S. 24.

<sup>22</sup> Berve H. Vom agonalen Geist der Griechen.— In: Gestaltende Kräfte der Antike. München, 1966, S. 1 sqq.

общественную жизнь всех эпох античной истории и, более того, определяет в конечном счете ход всей древней истории. Агональное мышление — это то, что отличает древнюю историю от современности, где мотивы действий людей определяются социальными и экономическими факторами. В древности же они не играли никакой роли, если даже такой трезвый историк, как Полибий объясняет завоевание Гамилькаром Баркой Испании не богатством ее металлами, а жадной мести, равно как той же жадной мести римские историки объясняли выступление Гая Гракха.

Можно согласиться с Штрасбургером, что древние историки не всегда понимали социальную и экономическую подоплеку истории и в анализе деятельности полководцев и реформаторов часто исходили из их личных побуждений. Однако сами социальные и экономические факторы вступили в действие отнюдь не в новое время, поэтому агональное мышление не могло определять хода древней истории. Преувеличивая влияние Гомера на греческую историографию, Штрасбургер лишает последнюю ее жанровой специфики. Понимание причин человеческих действий свойственно и поэту и историку, но поэтическая и историческая каузальность — разные вещи, как это видно из описания Троянской войны Гомером в первых двенадцати строках «Илиады» и рассказа о Троянской войне в «Археологии» Фукидида. Сравнение эпических поэм с историческим трудом может также показать различие целей поэта и историка. Различны их подход к отбору фактов и их хронологическое распределение.

Давая божественному мифу и божественному порядку вольное и светское толкование, выставляя богов в порочащем их виде, Гомер был первым критиком мифологического мышления, но мы еще не находим у него исторического мышления, включающего как обязательный элемент идею развития и связанную с нею систему периодизации, т. е. расчленения исторического процесса во времени. «Илиада» — это не прагматическая история Троянской войны, хотя в ней, несомненно, нашли отражение и общая расстановка политических сил, и социальная действительность эпохи Троянской войны. В подходе к истории Гомер руководствуется не научными, а чисто художественными задачами.

Из истории Малой Азии конца II тысячелетия до н. э. в «Илиаде» вымывается Хеттское царство, которое долж-

но было занимать авансцену Троянской войны, будь она историческим событием. В то же время местом действия некоторых эпизодов «Одиссеи» становится Египет, поскольку во времена жизни Гомера долина Нила была классической страной мифа.

Местности, лежащие за пределами хорошо знакомых побережий Малой Азии и Балканского полуострова, в гомеровских поэмах преобразены до неузнаваемости и населены мифическими народами. Представление о временной дистанции, отделяющей поэта и читателя от объекта описания, создается исключением из обихода и быта описываемой эпохи всего того, что в понимании поэта составляло характерную особенность его времени — употребление железного оружия, рыбной и молочной пищи, знакомство с письменностью, основание колоний на Западе, борьба западных эллинских колонистов с тирренскими пиратами. Возможно, этой же «архаизирующей» традицией объясняется эпизодичность упоминаний в эпосе дорийцев и ионийцев как народностей, не имеющих отношения к миру древних героев.

Такой подход Гомера к истории создает по виду реальную, на деле же искаженную картину микенского и троянского обществ, не раз вводившую в заблуждение тех, кто вслед за Г. Шлиманом рассматривал гомеровские поэмы как путеводитель по городам Микенской Греции и западной части Малой Азии. Чем глубже нам становится известна история эгейско-анатолийского мира конца II тысячелетия до н. э., тем больше теряет Гомер в нашем мнении как историк. Дешифровка линейной Б письменности обрисовала совершенно иную, чем в описании Гомера, картину эпохи. Вполне справедливо мнение тех исследователей, которые указывают, что историческое мышление Гомера находится примерно на том же уровне, на котором стоят творцы «Песни о Нибелунгах» или «Песни о Роланде»<sup>23</sup>.

Несмотря на это «Илиада» и «Одиссея» подготовили почву, на которой выросла последующая историография греков. Подобную же роль могла сыграть на Востоке «Поэма о Гильгамеше», в которой, как установлено, присутствуют некоторые элементы историко-философских идей. Но эти возможности развития исторической мысли в стра-

<sup>23</sup> О проблеме историчности содержания гомеровских поэм в последнее время см.: Finley M. Y. *The Trojan War.*— JHS, 1964, 84, p. 1 sqq.; Matz F. *Kreta und frühes Griechenland.* München, 1967.

нах Древнего Востока не могли быть реализованы ввиду господства деспотической монархии.

Греческая историография как повествование, как искусство рассказа о прошлом и, наконец, как далекая предшественница исторической науки была современницей великой греческой колонизации и формирования демократических полисов. Возникновение греческой историографии коренится в тех изменениях, которые в VII—VI вв. до н. э. испытывало греческое общество во всех сферах экономической, политической, культурной жизни. Греческая историография была детищем демократической революции в греческих полисах, созданием торгово-ремесленного населения, пытливые интересы которого были обращены к странам, ставшим объектом колонизации<sup>24</sup>.

Знакомство в ее ходе с доступной купцам и мореплавателям ойкуменой создавало предпосылки для появления трудов универсального характера, в которых наряду с фактами истории родного полиса присутствовало описание обычаев чужеземных народов и городов, выдающихся сооружений и местностей. Эти труды, сочтавшие позднейшую историю, географию, этнографию, одновременно представляли собой амальгаму реальных наблюдений с мифами, которым давалось рационалистическое толкование.

Как уже выяснено, античная историография в период своего формирования испытывала всестороннее влияние материалистической философии<sup>25</sup>. Ей она обязана и появлением самого термина *historia* в смысле «разыскание», «исследование»<sup>26</sup>. В эпосе родственный термин *histor* не имеет еще смысла «знаток прошлого». Это свидетель, очевидец, «истец» однокоренного русского слова. «Гомеровское употребление термина указывает на острую мыслительную направленность зрительного восприятия, вследствие чего тот, кто видит, не просто видит, но еще судит об увиденном и даже является свидетелем или авторитетом в

---

<sup>24</sup> Томсон Дж. Исследования по истории древнегреческого общества. Первые философы. М., 1959, с. 217 и сл.; Mazzarino S. *Op. cit.*, p. 7.

<sup>25</sup> Лурье С. Я. Указ. соч., с. 50 и сл. Об ионийской науке как почве греческой историографии наиболее обстоятельно см.: Fritz K. *Die Griechische Geschichtsschreibung*, Bd. 1. *Von den Anfängen bis Thukydides*. Berlin, 1967, S. 23—47.

<sup>26</sup> Об истории термина *historie* см.: Тахо-Годи А. А. Ионийское и аттическое понимание термина «история» и родственных с ним.— В кн.: *Вопросы классической филологии*. М., 1969, вып. 2, с. 115.

той области, которую он воспринимает зрением»<sup>27</sup>. В классической трагедии глагол *historeo* означает «спрашиваю», «допытываюсь». У философов-ионийцев термин *historie* употреблялся для обозначения исследования природы, т. е. обнимал биологию, космологию, всю философию. Те ионийские авторы, которых впоследствии стали называть историками, т. е. Гекатей, Гелланик, Геродот и другие, распространяли исследование — «историю» — и на область человеческого бытия в самом широком смысле этого слова, описывая расселения народов, их обычаи, удивительные сооружения. Исторические исследования ранних историков охватывали географию, этнографию и историю (в нашем смысле этого слова), и это в полной мере соответствовало термину *historie*.

Родиной «истории» в научном понимании этого слова был Милет, до разрушения персами в 494 г. до н. э. столица интеллектуальной жизни Ионии. Отсюда тянулись потоки колонистов на Север, к берегам Понта Эвксинского, и на Запад, вплоть до Пиренейского полуострова. Торговые договоры связывали Милет с отдаленными греческими государствами, многие из которых были его колониями. Ионийские (прежде всего, фокейские) мореходы, преодолев сопротивление соперников-финикийцев, проложили путь через Адриатическое и Тирренское моря к находящемуся у выхода в океан дружественному Тартессу<sup>28</sup>. Результатом далеких плаваний ионийцев было не только материальное обогащение, следы которого выявила археология, но и духовное богатство. Вместе с янтарем, оловом, серебром корабли мореплавателей привозили знания об окружающем мире. Не меньшее значение в этом отношении имели укрепившиеся в VIII—VII вв. до н. э. связи со странами древневосточной цивилизации. В качестве торговцев или наемников на службе восточных деспотов ионийцы проникали по Нилу вплоть до Нубии, по Евфрату — до Персидского залива. Из стран древних культур в Ионию лился поток культурных влияний и концентрировался в фокусе милетской философской школы. Первые греческие ученые Фалес, Анаксимандр, Анаксимен черпали из сокровищницы восточных культур все, в чем действительно нуждались развивающееся мореплавание, сельское хозяйство, ремесло,

<sup>27</sup> Тахо-Годи А. А. Указ. соч., с. 113.

<sup>28</sup> Циркин Ю. Б. Финикийская культура в Испании. М., 1976, с. 26 и сл.

градостроительство — вавилонскую астрономию, египетскую геометрию, финикийскую технику и письмо.

Первый греческий историк Гекатей Милетский (550—490) был не просто земляком ионийских философов-материалистов, но и их последователем. Это явствует из следующего факта: около 550 г. до н. э. Анаксимандр сконструировал первый глобус и создал первую географическую карту в виде медной доски с нанесенными на нее очертаниями материков, островов и извилистыми линиями рек; поколение спустя Гекатей усовершенствовал эту карту и дал ей научный комментарий в своем «Объезде земли»<sup>29</sup>. Это произведение было не только первым географическим, но и одновременно первым историческим трудом греков.

Связь между историческими знаниями и природой, обнаруживаемая в труде Гекатея, составляет одну из характерных черт античного мировоззрения. Мы находим ее в трудах философов ионийской школы, в учении Гиппократа (или его ученика) о зависимости государственного устройства и психического склада народов от природно-климатических условий, в нерасчлененности естественнонаучных и исторических знаний философской системы Аристотеля, во взглядах Полибия и, в особенности, Посидония на роль природы в истории народов и государств и, наконец, в «Естественной истории» Плиния Старшего, этой энциклопедии естественнонаучных и исторических знаний. Однако труд Гекатея является первым во всем этом ряду историко-географических исследований. Гекатей представил грандиозный научный комментарий к карте Анаксимандра, дополнил ее конкретными сведениями о природе и людях, а также теоретическим осмыслением в духе философии своего времени.

Картина мира у Гекатея противостоит картине мира, которая рисуется в «Одиссее» и в других произведениях этого рода, например, недошедшей «Аримаспее» Аристея Проконесского. Блужданиям мифического героя по морям, полным фантастических чудовищ, или по неведомым странам, населенным неведомыми народами, противопоставляется четкий, хорошо продуманный маршрут обхода земли, ставший со времени Гекатея классическим: от столпов Геракла по средиземноморскому побережью Испании,

<sup>29</sup> Возможно, это та самая карта всей суши с морями и реками, которую Аристагор, тиран Милета, принес спартамцам и дал по ней описание Малой Азии (Herod., V, 49).

Галлии, тирренскому и адриатическому побережьям Италии, побережью Греции и Фракии с заходом в Понт Эвксинский и путешествием вокруг него, с возвращением в Средиземное море и его объездом в обратном направлении с Востока на Запад, вплоть до достижения участка берега Ливии, сближающегося с крайней оконечностью Европы.

Как мы видим, «обход земли» охватывал три известные ныне под древними названиями части света: Европу, Азию и Ливию в их примыкающих к Средиземному морю частях. В «Теогонии» Гесиода Европа и Азия — это имена двух океанид (Theog., 357, 359). В гомеровских гимнах Европа — греческий континент в противовес Пелопоннесу и островам (II, 251; 291). И лишь у Гекатея появляются две части света Европа и Азия, Ливия же считалась частью Азии (F. gr. H, I A. S. 16—47)<sup>30</sup>. Границей между Европой и Азией мыслилась река Фазис (Рион). Землю Гекатей представлял себе в виде круга, омываемого величайшей из рек Океаном. Представление об Океане в ионийской науке — наследие мифологической концепции мира<sup>31</sup>. Роль Океана в картине мира у Гесиода более значительна, чем у Гомера. С Океаном сообщаются все моря и озера, расположенные посреди материков, а также Нил и Фазис. Возможно, увеличение роли Океана в труде Гекатея связано с экспедицией Скилака, посланного Дарием I обследовать океанское побережье от устья Инда до Аравийского залива<sup>32</sup>. Не надо забывать, что в годы написания «Объезда земли» Милет был городом Персидской державы, а сам Гекатей подданным персидского царя.

По сравнению с числом сохранившихся фрагментов ко-

---

<sup>30</sup> Происхождение названий частей света — предмет давнего спора. По всей видимости, Asia — это наследие древнего названия западной части Малой Азии *Aḥḥuwa*, распространенное на всю Малую Азию во времена владычества лидийцев (Mazzarino S. *L'image des parties du Monde et les rapports entre l'Orient et la Grèce à l'Époque classique.* — *Acta antiqua*, 1957, VII, p. 85). При объяснении названия Европы как части света современные исследователи исходят из существования в Фессалии города Европос (Strab., VII, 14) и двух городов с этим же именем в Македонии на реке Аксин (Thuc., II, 100, 3; Plin. NH, IV, 34) и в македонской области Алмопия (Ptol., III, 12, 91). Вопрос о связи этих названий с мифом о похищении Европы Зевсом и ее поисках финикийцем Кадмом неясен. Семитская этимология от *ereb* (врак) сомнительна. Что касается названия «Ливия», то оно, по-видимому, произошло от этнонима «ливийцы» — *libies*.

<sup>31</sup> Lesky A. *Talatta*. Wien, 1948.

<sup>32</sup> Mazzarino S. *Op. cit.*, p. 87.

личество явно сказочных сюжетов у Гекатея очень невелико, и оно связано с народами, отнесенными к краю населенного мира. Это пигмеи, ведущие войну с журавлями, скиаподы, люди с огромными ступнями, и гиперборей. При этом, сообщая о пигмеях, Гекатей не удерживается от критического замечания, находя смешным и невероятным утверждение, будто при жатве пигмеи пользуются топором (FHG I, Нес., fr. 266).

Описывая народы земли, Гекатей обращает внимание на их быт и религиозные обычаи. Так, он сообщает, что пеоны пьют пиво из ячменя или проса и мажутся коровьим маслом (FHG I, Нес., fr. 123), а египтяне едят кислый хлеб (килластей) и употребляют напиток из ячменя (FHG I, Нес., fr. 289), женщины Ливии покрывают голову платками (FHG I, Нес., fr. 329).

Гекатей был первым из греческих авторов, засвидетельствовавших существование в Ливии «города рабов», где каждый из невольников, принеся камень, получал свободу (FHG I, Нес., fr. 319). Об этом же городе без ссылок на Гекатея сообщали Эфор (FHG I, Ephor., fr. 96) и Феопомп (FHG I, Theop., fr. 122). Под «городом рабов» следует понимать «азиль», священное убежище, существовавшее у многих народов. Камень играл роль жертвы божеству азилья, но, возможно, трактовался и в утилитарном смысле как вклад бывшего раба в укрепление стены, охранявшей его свободу.

Насколько можно судить по дошедшим отрывкам, описание Гекатеем земли было систематическим. В пределах того или иного отрезка побережья или местности Гекатей называл народы, в них обитавшие, их границы (реки), города, храмы, характер страны (почва, флора и фауна). Гекатей не просто фиксировал положение того или другого народа, но стремился выяснить его происхождение и в связи с этим касался переселений народов, например пеласгов, гефиреев.

Другое и более позднее свое сочинение («Генеалогия» или «История» в четырех книгах) Гекатей начинает словами: «Это я пишу, что считаю истинным. Ибо рассказы эллинов, как мне кажется, необозримы и смешны» (FHG I, Нес., fr. 332). Здесь впервые в пока еще не завоеванную наукой и чуждую ей область мифологии вступает личность ученого как критика мифов и вместе с нею появляется «истина» — главный критерий историографии, заявляющей о своем существовании как научная дисциплина.

Предметом первого у греков исторического труда служат не современные Гекатею события, хотя, как нам известно, они его глубоко волновали<sup>33</sup>. Историк вторгается в область эпоса, используя мифы как исторический материал и стремясь отделить в них истину от вымысла. Так, Кербер для него не пес, охраняющий врата подземного царства, а страшная змея, обитающая у Тенара. Поскольку ее укусы были смертельным, змею иносказательно называли «псом Аида» (FHG I, Нес., fr. 346). Считая трудным перегон Гераклом стад Гериона с острова в Атлантическом океане в Микены, Гекатей переносит действие легенды в Северную Грецию (FHG I, Нес., fr. 349). Геракла Гекатей называет «народом Эврисфея», очевидно, в том смысле, что подвиги, совершенные целым народом, были приписаны одному Гераклу (Vit. Нес., р. XVI).

Свидетельством рационалистического подхода Гекатея к мифам являются объяснения названий городов из этимологий, опирающихся не только на греческий язык, но и на языки других народов. Название города Микен — Μικенаί — он производит от эфеса меча (Mikes), потерянного на этом месте (FHG I, Нес., fr. 349). Город Хиос на одноименном острове от имени Хиоса сына Океана или от снега, покрывающего остров, или от нимфы Хионы (FHG I, Нес., fr. 99). Критикуя миф о герое Египта, прибывшем в Арголиду из-за моря, Гекатей утверждает, что Египтом назывался некий мыс в Арголиде, на котором аргеи (аргивяне) творили суд (FHG I, Нес., fr. 357). К области этимологических истолкований можно отнести и фрагмент, объясняющий имя города Синопа от фракийского слова «пьяница» (Sapara) (FHG I, Нес., fr. 352), и фрагмент, производящий название Амалкийского моря от скифского слова «замерзший» (FHG I, Нес., fr. 160).

Историю Эллады Гекатей начинает с Девкалионова потопа, считая спасенного богами Девкалиона дедом Эллина (родоначальника эллинов), а местом первоначального поселения потомков Девкалиона — Фессалию (FHG I, Нес., fr. 334). Что касается остальных частей Греции, то они, как подчеркивает Гекатей, были заселены другими народами: Аттика — пеласгами, Пелопоннес — варвара-

---

<sup>33</sup> Гекатей был участником восстания ионийцев 500—494 гг. до н. э., хотя считал его неподготовленным и настаивал на предварительном завоевании милетянами морского господства (Herod., V, 36). После подавления восстания он отправился к сатрапу Артаферну, чтобы убедить его более мягко отнестись к побежденным (Diod., X, 25, 4).

ми. Утверждение афинян в Аттике Гекатей объясняет их стремлением завладеть прежде негодной, но прекрасно обработанной пеласгами землей и расценивает изгнание последних как несправедливость (FHG I, Нес., fr. 362). В этом проявляется беспристрастность Гекатея как историка: его сочувствие на стороне изгнанных пеласгов, хотя афиняне принадлежали к его ионийскому племени.

Гекатей был видным ученым «милетской школы», прекратившей свое существование вместе с Милетом (494 г. до н. э.). Не оставив учеников и продолжателей в своем родном городе, он стал учителем истории для всей Эллады. К нему восходят многие сведения последующих историков об отдаленных странах, начиная с Геродота вплоть до Авиена. Его труд знаменует появление научной историографии, которой не знал Древний Восток.

Особым универсализмом отличалась писательская деятельность Гелланика Лесбосского. Его произведения до нас не дошли, но, судя по ссылкам в последующей литературе, он был, наряду с Гекатеем Милетским, наиболее читаемым историком. Согласно античной традиции Гелланик родился в 496/495 гг. до н. э. Против этой даты говорит то, что сочинения Гелланика не были известны Геродоту. На этом основании время жизни Гелланика относят к 480—400 гг. до н. э.

Гелланик написал не менее тридцати произведений. Современные исследователи разделили их на четыре группы: 1) мифографические, 2) этнографические, 3) хорографические и хронографические, 4) труды о переселениях народов, основаниях городов, народных обычаях и именах, изобретениях<sup>34</sup>. В мифографических сочинениях «Форонида», «Атлантида», «Девкалиония», «Асопида», «Тронка», Гелланик охватил всю греческую мифологию, распределив мифы по циклам. В «Форониде» он рассказал о переселениях пеласгов в Фессалию и Этрурию, о странствиях Геракла и Гераклидов. В «Атлантиде» Гелланик объединил сказания об Атланте и его потомстве, охватывающие древнейшую историю Крита и островов Эгейского моря до Девкалионова потопа (см. ниже с. 83). В сочинении «Девкалиония» он рассказал о потопе середины II тысячелетия до н. э., уничтожении старого поколения людей и потомках единственно уцелевшего человека Девкалиона — Эллине, Амфиктионе, Эоле, Доре и Ксуфе. В «Асопиде» объ-

---

<sup>34</sup> Jacoby F. *Hellänikos*.— RE, VIII, col. 104 sqq.

единены мифы, связанные с прошлым народов северной части Балканского полуострова. В «Тройке» изложена мифическая история Троянской войны. Таким образом, Гелланик изложил греческие мифы в определенной системе, учитывавшей хронологию и место действия сказаний.

Поставив целью сохранить мифы как историческое достояние греческого народа, Гелланик в то же время относится к ним критически. Если, согласно Гомеру, во время осады Трои против Ахилла ополчился Скамандр, бог, носящий имя реки (II, XXI, 233), то Гелланик демифологизирует этот эпизод, рисуя сражение героя с разбушевавшейся вследствие выпавших дождей водной стихией (FHG I, Hell., fr. 132). Такая же демифологизация характерна и для передачи Геллаником эпизода со спасением Энея. Энея спасли не боги, а собственная находчивость и удачное стечение обстоятельств (FHG I, Hell., fr. 127). Ряд исторических фактов, ставших достоянием легенды, Гелланик расценивает по-другому, чем эпические поэты и трагики. Так, Гелланик доказывал, что Троя не была разрушена греками до основания (FHG I, Hell., fr. 146) и, как мы знаем по археологическим данным, он был прав. Видимо, опираясь на письменные источники, Гелланик утверждал, что государственный строй Спарты создан не Ликургом, а Проклом и Эврисфеном (FHG I, Hell., fr. 91). Несмотря на некоторую критику мифов, Гелланик относился к ним более бережно, чем Гекатей. Достоверность мифа для него, как правило, не играет решающего значения, и если он вносит в миф некоторые изменения, то лишь в назидательных целях.

Характерно, что Гелланик проявлял живой интерес к истории варваров и посвятил им значительное число произведений. Ему принадлежат «Египтиака», «Персика», «Скифика», «Лидиака», «Финикиака». «Египтиака» наряду с фактами политической истории содержала описание религии и быта египтян. Версия Гелланика о приходе к власти Амасиса (Яхмоса I) несколько отличается от версии Геродота<sup>35</sup>. Египетского царя, которого сменил Амасис, согласно Гелланику, звали Патармисом, согласно Геродоту, — Аурем. Кроме того, Гелланик излагает неизвестный «отцу истории» факт, относящийся к юности Амасиса. Оказывается, Амасис был человеком незнатного

---

<sup>35</sup> Herod., II, 162—169.

происхождения и занимался плетением венков. Венок, подаренный Патармису, ввел Амасиса в число царских друзей (FHG I, Hell., fr. 151).

Этот и другие фрагменты создают впечатление, что «Египтиака» лишь деталями отличалась от египетского логоса Геродота (II книга). Мы обнаруживаем в ней ту же тенденцию возводить к Египту происхождение многих греческих культов и обычаев. В то время как другие греческие авторы уверяли, что культивацией виноградской лозы впервые занимались хиосцы, Гелланик уверяет, что виноградарство было изобретением египтян и его родиной был египетский город Плинфин (FHG I, Hell., fr. 155). Культ Диониса Гелланик тоже возводит к Египту, связывая его с Озирисом. В то же время Египет привлекал Гелланика как страна чудес, и он, подобно некоторым другим авторам, давал фантастическое объяснение разливам Нила, описывал удивительные сооружения и растения этой страны (FHG I, Hell., fr. 149, 150, 152).

«Персика» Гелланика охватывала всю историю Персии с мифических времен до греко-персидских войн. Желая связать персов и мидян с греческой мифологией, Гелланик считает родоначальником этих двух народов Перса, сына Персея и Андромеды, и Меда, сына Эгея и Медуи (FHG I, Hell., fr. 159). Гелланик касался также и тех народов, с которыми персы вели борьбу и включили их в свою державу, — ассирийцев, халдеев, фракийцев. В анонимном произведении «О женщинах» содержится пересказ сообщения Гелланика о персидской царице Атоссе, дочери Ариаспа, которая впервые стала носить тиару и шаровары, ввела в царский дворец евнухов и стала давать распоряжения в письменном виде (FHG I, Hell., fr. 163 b). Атосса, согласно Геродоту, была дочерью Кира, супругой его брата Камбиса, самозванца Псевдо-Смердиса и, наконец, Дария (III, 68; 88; 133; VII, 2; 3; 64; 82). По всей видимости, Гелланик контаминировал образ персидской царицы с легендарной Семирамидой. Изложение греко-персидских войн Геллаником в ряде деталей отличается от изложения Геродота. Геродот сообщает, что у Дария было девять дочерей, Гелланик — одиннадцать, первый, что наксосцы отправили в помощь персам под Садамин три приеры, второй — шесть.

От сочинения Гелланика «Скифика» сохранилось три фрагмента, из которых явствует, что он уделил внимание племенам Северного Причерноморья. Исследование вен-

герским ученым Я. Гарматтой этих отрывков, а также приписываемого Гелланику папирусного отрывка (Pap. Ox., X, 1241, col. V) показало, что Гелланик в своем сочинении о скифах собрал обильный и отчасти новый этнографический материал<sup>36</sup>. Сохранение им для истории мифических гипербореев может быть трактовано как проявление в условиях начавшегося кризиса греческого общества идеализации первобытных народов.

Гелланику принадлежит важная заслуга — введение в историографию хронологии. О том, как применялся Геллаником хронологический метод, можно проследить на примере его хроники истории Аттики — «Аттиды». Установлено, что в изложении событий раннего периода Гелланик пользовался системой счета по поколениям (*geneai*)<sup>37</sup>. Он также пытался восстановить список древнейших царей Аттики, удваивая имена некоторых из них в тех случаях, когда число царей было меньше числа известных или предполагаемых поколений. Позднее, когда царей сменили архонты, избиравшиеся ежегодно, отсчет лет по поколениям сделался невозможным. Но в списке архонтов-эпонимов имелись лакуны, которые историк пытался заполнить, синхронизируя годы правления архонтов с годами правления жриц Геры в Аргосе, ибо список последних был полным.

По ссылкам Дионисия Галикарнасского, Стефана Византийского, Константина Багрянородного мы знаем об особом произведении Гелланика «Жрицы святилища Геры в Аргосе». Оно насчитывало три книги. Последний эпизод III книги относится к 429 г. до н. э. По всей видимости, это первая греческая универсальная хроника и важнейшее сочинение Гелланика. В сочинении сообщалось о переселениях народов, основании городов. Труд получил название по датированному правлением жриц хроникам храма Геры в Аргосе.

В нашу задачу не входит характеристика всех историков — предшественников Геродота в плане содержащегося в их трудах фактического материала, равно как и выяснение отличий одного историка от другого. Сколь бы ни

---

<sup>36</sup> Гарматта Я. Мифические северные племена у Гелланика. — *Acta Antiqua*, 1951, vol. 1, fasc. 1—2, s. 91.

<sup>37</sup> Счет по поколениям принадлежал к элементарным формам исчисления времени и, очевидно, опирался на архивы аристократических родов. Согласно Геродоту, на 100 лет приходилось три поколения (II, 142), т. е. длительность каждого поколения — 33 и  $\frac{1}{3}$  года. Но у других авторов длительность поколения варьируется от 23 до 39 лет.

была интересна фигура Ксанфа Лидийского, при раскрытии эволюции исторической мысли он может быть оставлен в стороне. Но не должна быть опущена общая оценка первых историков, которая дана в конце I в. до н. э. Дионисием Галикарнасским, еще знакомым с их произведениями. «Древних историков, — пишет Дионисий Галикарнасский, — имелось много и во многих местностях до Пелопоннесской войны. К числу их относятся Эвгеон Самосский, Дейох Проконнеский, Эвдем Паросский, Демокл Фигелейский, Гекатей Милетский, Акусилай Аргосский, Харон Лампсакский, Мелесагор Халкедонский, а те, которые немного моложе, т. е. жили незадолго до Пелопоннесской войны и прожили до времен Фукидида, — это Гелланик Лесбосский, Дамаст Сигейский, Ксеномид Хиосский, Ксанф Лидийский и многие другие. В выборе темы они руководствовались почти одинаковой точкой зрения и способностями немногим отличались друг от друга. Одни писали эллинские истории, другие варварские, причем и эти истории они не соединяли одну с другой, но разделяли их по народам и городам и излагали одну отдельно от другой, преследуя одну и ту же цель — обнародовать во всеобщее сведение предания, сохранившиеся у местных жителей среди разных народов и городов, письменные документы, хранившиеся как в храмах, так и в светских местах, — обнародовать эти памятники в том виде, в каком они их получали, ничего не прибавляя и не убавляя. Среди этого были и некоторые интересные, необычные события, которые нашим современникам кажутся невероятными. Способ выражения употребляли по большей части одинаковый, — все те, которые писали на одном наречии: ясный, обычный, чистый, краткий, соответствующий описываемым событиям, не представляющий никакой художественности. Однако произведениям их присуща какая-то прелесть и красота, в одних в большей степени, в других в меньшей, благодаря которой их сочинения остаются до сего времени»<sup>38</sup>.

Называя добрую дюжину древних историков, Дионисий заявляет, что наряду с ними имелись многие другие. Все это свидетельствует о развитии историографии задолго до Геродота и также о том, что уже в отдаленной древности исторические труды создавались во многих полисах Малой

<sup>38</sup> Dionys. Jud. de Thuc. ed. Useneri, p. 330—331, перевод С. И. Соболевского в кн.: История древнегреческой литературы. М., 1955, т. 2, с. 13.

Азии, островов Эгейского моря и Балканского полуострова. Среди древнейших историков, названных Дионисием Галикарнасским, теряются имена Гекатея и Гелланика, так что может возникнуть сомнение, правилен ли наш выбор их как наиболее значительных представителей греческой исторической мысли до Геродота и Фукидида. Однако это сомнение развеется, когда мы выясним, что Геродот ссылается только на Гекатея, а Фукидид только на Гелланика. Авторитет Гекатея и Гелланика был наиболее высок и у последующих историков. Очевидно, утверждение Дионисия Галикарнасского, что все древние историки «отличались равными способностями», не соответствует действительности.

В качестве источников, как подчеркивает Дионисий, первые греческие историки использовали как устные рассказы, так и письменные памятники, сохранявшиеся в храмах и светских местах. Это замечание интересно тем, что оно опровергает ходячее мнение о незначительном распространении письменности в VII—VI вв. до н. э. и полном ее отсутствии в IX—VIII вв. до н. э., т. е. в годы создания гомеровских поэм. Основой для этого мнения, на котором долгое время держался «гомеровский вопрос», является свидетельство Иосифа Флавия о том, что у первых греческих историков отсутствовали «всякие письменные памятники» и это было причиной разногласий между ними в оценках одних и тех же фактов (с. App., I, 5).

Замечание Иосифа Флавия об отсутствии у греческой историографии всякой письменной традиции высказано им в полемике со своими современниками, отрицавшими древность еврейского народа на том основании, что первые греческие историки ничего не знают о нем. Теперь мы можем сказать, что еврейский историк ошибался. Искусство письма в Греции появилось позднее, чем на Востоке. Но уже во II тысячелетии до н. э. греки умели писать. Линейные А и В письменности были известны обитателям Эгиды и некоторое число памятников могло сохраняться в храмах во времена Гомера и Гекатея Милетского. Отдельные части гомеровского эпоса, например «каталог кораблей», могли восходить к письменным памятникам Микенской эпохи<sup>39</sup>.

<sup>39</sup> Иосифу Флавию была известна дискуссия по вопросу о том, употреблялись ли буквы участниками Троянской войны: «Ведь даже вопрос об использовании письма участвовавшими в Троянской войне... возбуждал немало толков, и преобладающее мнение действительно

С распространением у греков в VII—VI вв. до н. э. алфавитного письма появляется возможность более широкой, чем где бы то ни было на Востоке, фиксации исторических событий. Во многих городах Греции уже в архаическую эпоху велись списки должностных лиц, именем которых обозначался год — архонтов (в Аттике), эфоров (в Спарте) и др. С 776 г. до н. э. велись списки победителей в общеэллинских Олимпийских состязаниях. И хотя они были обнаружены лишь в 410 г. до н. э. Гиппием из Элиды, можно предположить, что и до этого времени историки могли пользоваться этими данными в храмовом архиве. Существовали также списки древнейших царей, возводивших свое происхождение к Гераклу или какому-либо другому герою. В храмах могли вестись записи о наиболее выдающихся событиях — землетрясениях, затмениях солнца, нашествиях врагов, основаниях колоний.

Первые историки могли также пользоваться текстами договоров, заключенных между отдельными государствами, а также таблицами законов, наподобие Гортинских таблиц на Крите или не дошедших до нас законов Драконта или Солона. Однако в целом они не проявляли присутствующего современной историографии интереса к первоисточникам. Этот недостаток документации не был преодолен на протяжении всего многовекового развития античной историографии.

Особого рассмотрения заслуживает та часть высказывания Дионисия Галикарнасского о древних историках, в которой он отмечает их пристрастие к «некоторым интересным, необычным событиям, которые кажутся нашим современникам невероятными». Ее можно сопоставить с упреком Страбона Гелланику, Геродоту, Ктесию в том, что они сознательно придумывают невероятное, «чтобы удовлетворить склонность к чудесному и доставить удовольствие слушателям» (I, 2, 35), а также с соответствующим местом у Фукидда, где он противопоставляет свое чуждое вымыслам изложение рассказам логографов (I, 21).

Говоря о стремлении ионийских историков устранить из повествования о далеком прошлом греческого народа все фантастическое, нереальное, не следует представлять

---

клонится к тому, что употребляемые ныне буквы были им неизвестны» (с. App., I, 2). Таким образом, существование у греков древнейших видов письменности не вызывало сомнения у тех, кто занимался этим вопросом.

себе; что они постепенно избавлялись от мифов<sup>40</sup>. Историография не могла оторваться от мифов, поскольку они были ее материалом. Критика мифа имела не негативное, а созидательное значение. И ее итогом было то, что мы называем историографией.

Гекатей и создатели Библии были современниками и подданными персидских царей. Питаясь разными традициями и преследуя в изложении мифологического прошлого диаметрально противоположные цели, они зависели, хотя и не в равной мере, от одного и того же наследия более древних и высоких культур. Гекатей, сообразуясь с практическими интересами своих соотечественников, извлек из этого наследия то, что явилось основой научного мировоззрения греков, авторы же Библии то, что известно как «монотеизм древних евреев». Все попытки отнести этот монотеизм к доперсидской эпохе и сделать его специфическим достоянием еврейского народа опровергаются анализом Библии и выявлением в ней идолопоклоннических элементов. Иудейский монотеизм имел своим отдаленным предком монотеизм египетского религиозного реформатора Эхнатона, а в современной Библии действительности — монотеистические элементы персидской религии с ее культом верховного божества Ахурамазды.

Без архаической историографии греков непредставимы достижения историографии классической эпохи. Интерес Геродота к истории и этнографии был подготовлен историко-географическим сочинением Гекатея Милетского<sup>41</sup>. Критический метод Фукидида восходит к рационалистической критике мифов Гекатеем и Геллаником. Гелланик был непосредственным предшественником Эфора в создании всемирной истории. При современном состоянии знаний и фрагментарности дошедших до нас данных затруднительно выделить историка, достойного носить титул «отца истории». Но не вызывает сомнения, что отделение ис-

---

<sup>40</sup> Ю. А. Левада справедливо подчеркивает устойчивость элементов мифологического мышления (Левада Ю. А. Историческое сознание и научный метод.— В кн.: Философские проблемы исторической науки. М., 1969, с. 199 и сл.), а И. П. Вейнберг (Вейнберг И. П. Указ. соч., с. 69) — способность регенерации мифологического мышления в соответствующих условиях.

<sup>41</sup> И более того, как считали уже в древности, Геродот обязан Гекатею и фактическим материалом. Порфирий обвинял Геродота в плагиате у Гекатея рассказов о Фениксе, гиппопотаме и охоте на крокодилов (F. Gr. N., I, fr. 324 a). В новое время едва ли не весь египетский логос Геродота был приписан Гекатею.

тории: от других литературных жанров произошло в период, предшествующий греко-персидским войнам.

История — современница материалистической философии Фалеса и Анаксимена. Она испытала всестороннее влияние научной философской мысли и отразила то расширение кругозора, которое характерно для эпохи персидского владычества и великой греческой колонизации. В то же время происходит знакомство греков с достижениями древневосточной культуры, что не могло не сказаться на характере первых греческих исторических трудов. И здесь свет шел с Востока. Однако приоритет в создании историографии как исследования все же принадлежит не народам Востока, а грекам. Греческие ученые, так удивлявшиеся мудрости Востока и так много взявшие от нее, превзошли восточную науку. Возникновение исторической мысли едва ли не самый разительный пример научного превосходства народа, развивавшегося в новых и более прогрессивных социально-экономических условиях.

# Глава II

## ГЕРОДОТ И ФУКИДИД. ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сколь бы важными и значительными ни были вопросы, поднимаемые сохранившимися отрывками произведений ранних историков, они отступают на задний план по сравнению с проблемами, которые связаны с дошедшими до нас полностью трудами Геродота и Фукидида. Вокруг каждого из них сложилась колоссальная литература, немногим уступающая гомеровской. Нет недостатка и в сравнительных оценках обоих историков<sup>1</sup>.

Сопоставление Геродота с Фукидидом не является приемом, навязанным исследованию извне. Оно лежит в природе творчества этих историков, что уже понималось их древними ценителями и критиками. В античном предании Геродот и Фукидид сведены как современники, старший и младший, как уже прославленный историк, выступающий с чтением своего труда перед афинянами, и юный слушатель, выбирающий путь в жизни. И будто бы Геродот обратил внимание на мальчика и даже дал советы его отцу, каким должно быть его образование. Это, бесспорно, новелла, построенная по образцу рассказов о встрече Креза с Солоном, но по образцу известной легенды о сося-

<sup>1</sup> Otto W. F. Herodot und Thukydidés.— In: Das Wort der Antike. Stuttgart, 1962, S. 274—292; Sealey R. Thukydidés, Herodotos and the causes of War.— Class. Quart, 1957, LI (VII), p. 1—12; Diesner H. Der Athenische Bürger bei Herodot und Thukydidés.— Wissenschaftliche Zeitschrift Univ. Halle, 1956—1957, VI, S. 899—903; Fitton Brown A. Notes on Herodot and Thukydidés.— Hermes, 1958, XXXVI, p. 379—382.

зании Гомера с Гесиодом она выражает мнение, что Геродот и Фукидид были родоначальниками историографии, так же как Гомер и Гесиод — поэзии.

Сравнение Геродота и Фукидида проводилось в древности и в научном плане. Историки многократно сравнивались с точки зрения композиции, стиля и языка их трудов. При этом показательно, что, отмечая большую серьезность и объективность Фукидида, древние критики отдавали предпочтение Геродоту как рассказчику и стилисту:

В новое время, в период господства в исторической науке позитивизма, сравнение Геродота с Фукидидом перешло в другую плоскость. Фукидид стал противопоставляться Геродоту как создатель научного метода художнику слова и превозноситься как величайший историк древности и отец современной научной историографии<sup>2</sup>.

Кризис позитивизма в последней четверти XIX в. выразился в интересующем нас вопросе в изменении отношения к Фукидиду и Геродоту. Критики позитивизма противопоставили Геродота Фукидиду, видя преимущество первого в универсализме его труда, в широте кругозора, в интересе к истории и культуре всех народов земли. Мюллер-Штрюбинг в своих «Исследованиях по Фукидиду»<sup>3</sup> обвинил Фукидида в субъективности, сокрытии истины, умышленной неясности с целью сбить читателя с толку, в педантизме и доктринерстве. С еще более резкими нападками на Фукидида обрушился Ю. Шварц<sup>4</sup>. Фукидид характеризуется им как человек ограниченный, не обладавший ни умом истинно государственного деятеля, ни культурно-политическим кругозором, а труд его оценивается «не более как история походов пелопоннесцев и афинян».

В дальнейшем исследование отходит от этих крайностей и противопоставления Геродота Фукидиду. Уже Ф. Корнфорд отмечает, что Фукидид не был «врагом мифов», как его считали позитивисты, а так же, как Геродот, находился на почве мифологии и испытывал влияние

---

<sup>2</sup> Для Л. Ранке Фукидид «непревзойденный мастер историографии». Отто Зеек, написавший очерк по истории античной исторической мысли, полагал, что с Фукидидом кончилась античная научная историография и связал этот «печальный факт» с дегенерацией античных народов. Не менее высоко ставил Фукидида Эд. Мейер, полагающий, что «Нибур начал с того места, на котором кончил Фукидид» (Meyer Ed. Forschungen zum Alte Geschichte. Halle, 1899, S. 121).

<sup>3</sup> Müller-Strübing H. Thukydidische Forschungen. Wien, 1881.

<sup>4</sup> Schwartz J. Die Demokratie. Leipzig, 1884.

драмы<sup>5</sup>. В мировоззрении и творческой манере историков отмечаются общие моменты. Геродот и Фукидид рассматриваются как две равновеликие вершины античной историографии. В этом направлении пойдет и наше исследование. Каждый историк будет рассмотрен отдельно, но по одному и тому же плану: цель и характер труда, мировоззрение, отношение к источникам. Затем будет дано сопоставление, как это делалось Плутархом в параллельных жизнеописаниях.

\* \*  
\*

Труд Геродота является древнейшим из дошедших до нас полностью исторических и прозаических произведений древних греков. Уже одно это обеспечило ему исключительное внимание со стороны современных исследователей. Но наряду с этим сам характер труда породил уже в древности оценки и споры, не утихающие по сей день. Цицерон назвал Геродота «отцом истории», но не менее авторитетные античные авторы видели в нем отца лжи. Плутарх написал особое сочинение «О злокозненности Геродота», обвиняя историка в умышленном искажении истины.

Как в древности, так и в новое время, осуждение Геродота чаще всего было следствием непонимания жанровой специфики его труда. Оценка Геродота исходила из представлений, какие выработались в ходе многовекового развития исторической мысли и зафиксированы в нашем понимании целей исторической науки. Поэтому выяснение цели и характера труда Геродота имеет первостепенное значение.

Для суждения о цели труда Геродота мы обладаем ее авторской формулировкой в первой фразе: «Это есть изложение исследования Геродота Галикарнасца, представленное для того, чтобы от времени не изгладилось в памяти все, что совершено людьми, а также не заглохла слава о великих и достойных удивления деяниях (*erga*), что касается как всего остального, так и причины, по которой

<sup>5</sup> Cornford F. H. *Thucydides Mythistoricus*. London, 1907. Это первая формулировка так называемой мифологической концепции возникновения научного знания. Ее развитие см. в другой работе того же автора: Cornford F. H. *From religion to philosophy*. London, 1912. Критику концепции Корнфорда см.: Чанышев А. Н. Эгейская предфилософия. М., 1970, с. 186—188.

возникла между ними война»<sup>6</sup>. Несмотря на то, что текст во всех рукописях имеет одинаковую редакцию и не обладает лакунами, он вызвал поток разноречивых суждений как о его содержании в целом, так и о смысле отдельных слов. Прежде всего возникла проблема подлинности сохранившегося «приступа» к истории, которая решается преобладающим большинством исследователей в пользу написания его Геродотом<sup>7</sup>. С проблемой подлинности связан давний вопрос об обозначении Геродотом себя «галикарнасцем», хотя известно, что Аристотель цитирует два начальных слова «Геродот фуриец». Спор породило даже такое ясное слово, как *erga*, которому, вопреки прямому словарному значению «труды, сооружения», некоторые переводчики давали толкование «деяния»<sup>8</sup>. Но более всего расхождений и споров вызывало выяснение того, какой смысл Геродот вкладывает в свое обещание выяснить причину, по которой возникла между эллинами и варварами война. От решения этого вопроса зависит оценка Геродота как историка.

Исходным моментом для разгоревшегося спора послужила трактовка «приступа» Ф. Якоби<sup>9</sup>. С точки зрения немецкого исследователя, говоря о «причине», Геродот не формулирует задачу всего труда, а имеет в виду последующий рассказ о мифических столкновениях между эллинами и варварами из-за женщин. Продолжая эту мысль, Ф. Якоби доказывает, что противоречие между эллинами и варварами занимает у Геродота второстепенное место и что это явствует из «лидийского логоса», следующего за описанием мифических столкновений эллинов и варваров.

---

<sup>6</sup> Перевод В. Г. Боруховича (Борухович В. Г. Геродот Галикарнасец или Геродот Фуриец.— ВДИ, 1974, № 1, с. 127). У нас вызывает сомнение лишь расширенное толкование слова *erga* и его перевод как «деяния».

<sup>7</sup> В пользу его подлинности интересны доводы Ф. Г. Мищенко (см. Мищенко Ф. Г. Приступ к истории Геродота.— ФО, 1897, XII). См. также: Jacoby F. Herodotos.— RE, Suppl. 2, col. 334 sqq.; Erbse H. Der erste Satz im Werk Herodots.— In: Festschrift V. Snell. München, 1956, S. 209 sqq. Т. Кришер считает, что подлинным является только начало первой фразы до слов в переводе «а также» (Krischer T. Herodots proömion.— Hermes, 1965, 99, S. 159).

<sup>8</sup> Ф. Г. Мищенко (Геродот. История в девяти книгах/Пер. Ф. Г. Мищенко) переводит *erga* как «сооружения». Так же С. Я. Лурье (см. Лурье С. Я. Геродот. М., 1947, с. 124). В переводе Г. А. Стратановского *erga* — деяния. (Стратановский Г. А. Геродот, Л., 1972, с. 11, 501).

<sup>9</sup> Jacoby F. Op. cit., col. 337.

А в изложении греко-персидских войн Геродот вовсе забывает о сформулированной во введении задаче.

В поддержку мнения Якоби выступил в рецензии на его статью Ф. Фоке, считавший, что не следует понимать слова Геродота о «причине» как формулировку цели труда, поскольку его задачей является написание истории Персии с особым уклоном в историю малоазийских греков<sup>10</sup>.

События в Германии в начале 30-х гг. перенесли спор о цели труда Геродота на политическую почву. В концепции Якоби, «неарийца по происхождению», увидели подкоп против расовой теории. С точки зрения М. Поленца, основной темой труда Геродота является естественная и наследственная вражда между эллинами и варварами, между Европой и Азией, вражда, которую отец истории впитал с молоком матери<sup>11</sup>. Чтобы показать силу вражды, Геродот возводит ее истоки к седой древности. В этой связи Поленц отвергает мысль, что введение относится к мифологическим столкновениям эллинов и варваров, считая его программой всего труда, которую историк выполнил в полной мере.

Против этого толкования М. Поленца, правда, без ссылки на него, выступил С. Я. Лурье<sup>12</sup>. Он подкрепил концепцию Якоби новыми доводами. Геродот будто бы воспринял взгляд, господствовавший в кружке Перикла, что после победы над Ксерксом главным противником эллинов является уже не Персия, а Спарта. Поэтому изложение Геродотом конфликта между эллинами и персами в историческом плане вполне благоприятно для персов. Такой подход к истории греко-персидской войны — по мнению С. Я. Лурье — вызвал неприязнь по отношению к Геродоту со стороны как древних, так и новых критиков, искавших в его труде описания героической борьбы маленького, но сплоченного греческого народа против восточного варварства.

Возвращаясь к вопросу о том, что следует понимать под обязательством Геродота выяснить *aitia* войны между эллинами и варварами, правомерно будет установить, в

<sup>10</sup> Focke F. Рец. на кн.: Jacoby F. Op. cit.— Gnomon, 1932, 8. Heft 4, S. 177—190.

<sup>11</sup> Pohlenz M. Herodot der erste Geschichtsschreiber des Abendlandes.— Neue Wege zur Antike, Lpz., II Reihe, Heft 7/8, 1932, S. 81, 85, 165.

<sup>12</sup> См. Лурье С. Я. Указ. соч., с. 124 и сл.

каком смысле это слово понимается Геродотом. Эту работу проделал западногерманский историк Г. Берниц, и мы будем опираться на достигнутые им результаты<sup>13</sup>. В смысле первоначальной вины источника последующих бедствий *aitia* употребляется в рассказе о Клисфене, которого предложили изгнать, поскольку члены его рода Алкмеонидов были «причиной кровопролития» (V, 70, 2). В том же значении вины *aitia* фигурирует в рассказе о низложении Киром Астиага (I, 75, 1). Речь идет о войне Астиага, который из боязни за свой трон приказал умертвить Кира. Таково же значение слова «причина» и в эпизоде с персом Сатаспом, изнасиловавшим знатную девушку. Его действия были причиной того, что Ксеркс хотел распять Сатаспа на кресте, но согласился на меньшее наказание: отправил преступника в плавание вокруг Ливии (IV, 43, 2). Скиф Скил нарушил обычай своего племени и принял участие в таинствах борисфенитов. Это послужило причиной восстания скифов (IV, 78). Персы изгоняют из своей страны тех, кто страдает проказой или белыми лишаями, приписывая эти недуги греху человека по отношению к солнцу. По этой причине (т. е. греху) они изгоняют и белых голубей (I, 138, 1). Причиной похода Камбиса против Амасиса является посылка персидскому царю египетским в жены вместо дочери знатной девушки, т. е. заведомый обман (III, 1, 1; III, 1, 5).

Не приводя всех сорока девяти примеров употребления Геродотом *aitia*, мы должны будем согласиться с Берницем, что это слово используется в контексте для обозначения человеческих погрешностей в социальной или религиозной области, нарушений родовых обычаев, общепризнанной морали, договоров, клятвы. В этом смысле *aitia* выполняет функции «основания», «повода» для наказания, возмездия.

Употребление Геродотом *aitia* в самом труде бросает свет на его применение во введении. Геродот далек от понимания причины одной из величайших войн древности. Его интересует морально-религиозная сторона конфликта. Именно поэтому он ищет не источник вражды, приведший к войне, а ее виновников. Причиной столкновений между Европой и Азией оказывается похищение женщин. Первыми финикийцы прибыли на своих кораблях в Аргос и

<sup>13</sup> Börnitz H. F. Herodotes-Studien. Beiträge zum Verständnis der Einheit des Geschichtswerks. Berlin, 1968, S. 139—163.

похитили Ио. Это и было первой причиной вражды, и виновными (aitioi) оказались финикийцы. Затем «некие эллины», т. е. не те, какие испытали несправедливость, а другие, их потомки, похитили финикиянку Европу. С точки зрения Геродота, это было вполне справедливо, так как в своих потерях эллины и финикийцы сравнились (isa pros isa sphi genestai). Но эллины не удовлетворились законным возмездием и сами нанесли варварам обиду, похитив колхидянку Медею. На просьбу царя Колхиды ее выдать они ответили отказом, ссылаясь на то, что еще не получили брачного выкупа за Ио (I, 2, 3). В ответ на это уже в следующем поколении троянец Александр похитил у эллинов Елену и также отказался выплатить возмещение, ссылаясь на такой же отказ эллинов (I, 3, 3). Тогда эллины пошли на Азию (тут впервые в греческой литературе появляется это слово!) войной, и это, с точки зрения Геродота, было виной эллинов, поскольку воздаяние оказалось тяжелее преступления. Так ли велико это прегрешение Париса и его предшественников? На этот вопрос Геродот отвечает, обращаясь к житейскому опыту: «Ясно ведь, что женщин не похитили, если бы они этого не хотели» (I, 4).

Даже если вслед за Дорнзейфом<sup>14</sup> считать это замечание шуткой, нельзя не понять, что за нею скрывается определенное отношение древнего автора к войне. Геродот, безусловно, не видит необходимости в вооруженном выступлении малоазийских греков, которое послужило толчком к войне<sup>15</sup>.

Осуждая эллинов за вторжение в Азию, Геродот не одобряет и персов, которые, основываясь на пустом, и к тому же не имеющем к ним непосредственного отношения поводе, признали эллинов врагами. «Ведь персы, — продолжает Геродот, — считают Азию своею и живущие там варварские племена своими, Европа же и Эллада для них чужая страна» (I, 4, 3). Таким образом, мысль о противоположности Азии и Европы присуща не эллинам и не самому Геродоту. Это идея, выставляемая персами и основанная на убеждении, что Азия со всеми ее варварскими племенами должна принадлежать им. Но правы ли «персы» в своем убеждении, которое послужило источником конфликта? Ответом на этот вопрос служит изложенная

<sup>14</sup> Dornseif F. Die archaische Mithenerzählung. Berlin, 1933.

<sup>15</sup> Herod., VI, 11; IV, 93; II, 172. Об отношении Геродота к ионийскому восстанию см.: Лурье С. Я. Указ. соч., с. 6.

Геродотом история Передней Азии. Из нее читатель выяснит, что до падения мидийского царя Астиага (550 г. до н. э.) персы сами были поработаны мидянами и обрели свободу лишь благодаря Киру (I, 127, 1). Потом при Кире, Камбисе и Дарии они поработили народы Азии, обладавшие своими обычаями, нравами, культурой, религией, своей историей. Идея единства Азии под персидским началом после рассмотрения ее Геродотом оказывается, таким образом, фикцией, а те, кто ее придерживается, несут ответственность за начало войны.

Далеко не легкой цели показать ошибочность, как мы бы сказали, персидской империалистской доктрины соответствует сложная композиция труда Геродота. Попытка Ф. Якоби представить произведение Геродота как сумму отдельных рассказов, включенных в историю Персии, в свою очередь дополненную рассказом о греко-персидских войнах<sup>16</sup>, встретила справедливый протест В. Бузескула, писавшего: «У Геродота, несмотря на все его отступления и эпизоды, есть единый план, есть, наконец, общие руководящие идеи, пронизывающие весь его труд, своя, так сказать, философия истории»<sup>17</sup>. То, что Якоби представлялось как собрание независимых друг от друга рассказов, на самом деле соответствует определенному плану и цели труда. Но этот план отвечает не научной логике, а художественным целям, сходным с целями драмы. Влияние драмы сказывается уже в первой новелле о лидийском царе Крезе и греческом мудреце Солоне<sup>18</sup>. Поработитель эллинов Крез добился богатства, которое в древности считалось синонимом счастья. Счастливек Крез сталкивается с мудрецом Солоном. Возникает дискуссия о природе человеческого счастья. С точки зрения мудреца, счастливым можно назвать человека, воспитавшего прекрасных и благородных сыновей и умершего достойной смертью. Крез не соглашается с подобной трактовкой и признает Солона «совершенно глупым человеком, который, пренебрегая счастьем настоящего момента, всегда советуется ждать исхода всякого дела» (I, 33).

<sup>16</sup> Jacoby F. Op. cit., col. 338.

<sup>17</sup> Бузескул В. П. Введение в историю Греции. Пг., 1915. См. также: De Sanctis G. La composizione della storia Herodoto.— *Rivista di Filologia*, 1926, p. 290 sqq.

<sup>18</sup> Regenbogen O. Die Geschichte von Solonos und Krösus.— *Kleine Schriften*, 1962, S. 101 sqq.; Hellman Fr. Kroisos-Logos.— *Neue Philologische Untersuchungen*, 1934, 9.

Божество, как и следовало ожидать, подтвердило правоту мудреца, обрушив на Креза одну за другой кары — «вероятно, — объясняет Геродот, — за то, что тот считал себя самым счастливым из смертных» (I, 34, 1). От несчастного случая на охоте гибнет сын Креза. Его невольным убийцей оказывается фригиец Адраст, до этого приятный Крезом в дом и очищенный им от скверны кровнородственного убийства. На этом несчастье Креза не кончатся. Неправильно истолковав изречение оракула, он начинает войну против Кира, терпит поражение, попадает в плен, приговаривается к сожжению на костре, т. е. до дна испивает чашу человеческих бед. Однако во время казни разражается буря с ливнем и гасит костер. Крез был спасен, разумеется, не Киrom, а Геродотом для того, чтобы услышать наставления дельфийского оракула: «предопределенного роком не может избежать даже бог» (I, 91, 1).

86 глав потребовалось Геродоту для того, чтобы раскрыть идею, многократно изложенную авторами трагедий и хорошо усвоенную посетителями греческого театра. Перед нами драматический конфликт в духе Софокла. В нем участвуют трагические фигуры, не только сам Крез, но и фригиец Адраст (как бы двойник Эдипа), дважды помимо своей воли ставший убийцей (такова сила рока!). Чисто драматической является развязка рассказа о Крезе: спасение царя и его духовное прозрение. Будучи инсценирован, он мог бы соперничать с трагедиями Софокла. Как подражателя Софокла, Геродота меньше всего интересует правдоподобность деталей — невозможность встречи Креза и Солона, немыслимость спасения Креза. Подобные неточности не волновали авторов трагедий, обращавшихся со своим материалом так, как этого требовали их творческие замыслы и фантазия.

Та же идея изменчивости человеческого счастья лежит в основе персидских новелл Геродота<sup>19</sup>. Из четырех известных ему рассказов о персидском царе Кире он выбирает один, переданный «некими персами», желавшими не слишком восхвалять Кира, но рассказывать только правду (I, 95, 1). Эти персы выступают двойниками лидийцев, от

---

<sup>19</sup> Reinhardt K. Persergeschichten.— *Vermächtnis der Antike*, 1960, S. 133 sqq.; Altheim Fr. *Persische Geschichten des Herodot.*— *Literatur und Gesellschaft im Ausgehenden Altertum*, 1950, II; Shabo A. *Herodotea.*— In: *Acta antiqua. Budapest*, 1951, I, p. 74 sqq.

которых Геродот услышал свой драматический рассказ о Крезе, а сама повесть о Кире оказывается не чем иным, как драматизированной историей о царственном младенце, подкидыше, воспитанном в семье пастуха и достигшем, пройдя испытания, царской власти. И так же, как Креза, Кира губит то, что он полагается на свое счастье.

Все то, что Геродот сообщает о Камбисе, восстании магов, приходе к власти Дария, также не история в научном смысле этого слова. Перед нами типичная новелла, состоящая из трех вытекающих одна из другой сюжетных линий. Одна линия — это братоубийственное преступление царя Камбиса, другая — обман магов, воспользовавшихся убийством для незаконного захвата власти. Преступление, однако, не только порождает обман, но и наказуется им. Двойник убитого мстит убийце. Камбис гибнет, раскаиваясь и понимая, «что не в человеческой власти отворотить определенного роком» (III, 65). Рок, как и во всех других новеллах Геродота, определяет направление и ход событий. Но рассказ о Камбисе и магах может быть назван трагедией скорее обмана, чем рока. Это особенно ясно из введения третьей, дополнительной сюжетной линии, углубляющей и разъясняющей две главные. Вельможа Прексасп, исполняя злую волю царя, убивает его брата Смердиса. Но это не его преступление. Преступление Прексаспа в том, что после смерти Камбиса он уверяет, что не убил Смердиса и тем самым способствует обману, благодаря которому престол занял самозванец. Желая использовать Прексаспа как орудие, маги заставляют его подняться на высокую башню и заявить во всеуслышание, что он не убивал Смердиса. Но Прексасп, как и Камбис, раскаивается в своем преступлении, т. е. в обмане и, перед тем, как броситься с башни, рассказывает всю правду.

Отходя в деталях от изложения в надписи на Бисутунской скале фактов убийства Смердиса-Бардии и прихода к власти мага Гауматы-Смердиса, Геродот в то же время с недоступной автору надписи психологической глубиной раскрывает смысл произошедшей трагедии. То, что в надписи выражено одной фразой: «Ложь умножилась в стране и в Персии, и в Мидии, и в других областях», Геродот раскрывает на судьбах Камбиса, самозванца-мага и вельможи Прексаспа.

Еще в 1940 г. К. Рейнгардт рассмотрел персидские новеллы Геродота в их соотношении с восточной идеологи-

ей<sup>20</sup>. В частности, он отнес историю Прекрасла к типично восточному циклу сказок о властителе и великом визире. Ф. Альтгейм пошел еще далее, подчеркнув древнеиранский, зороастрийский характер идеологии персидских новелл Геродота<sup>21</sup>. Согласно Альтгейму, Геродот отражает легитимистскую традицию Ахеменидов. Не упоминая имени Зороастра (Заратуштры), он выделяет характерную для зороастризма идею дуализма — свет и тьма, жизнь и смерть, в данном случае, правда и ложь. Венгерский историк А. Шабо, развивая положения Рейнгардта и Альтгейма, связал новеллу о Прекрасле с древнеперсидской педагогической программой в изложении самого Геродота — «стрелять по мишени и говорить правду без прикрас»<sup>22</sup>.

Бесспорно, наблюдения о персидских параллелях в рассказах Геродота имеют определенное основание. В их пользу говорит отмеченное нами сходство между фразой из Бисутунской надписи о лжи в Персии и Мидии и осуждением лжи в новеллах Геродота. Однако это не дает еще основания говорить о Геродоте как выразителе персидской легитимистской традиции. Обращает на себя внимание то, что в свете дилеммы правда — ложь рассматривается и приход к власти Дария. Царь царей Дарий, выставляющий себя в надписи ревнителем правды, согласно Геродоту, оказывается таким же лжецом. Примкнув к заговору шести персов, он сводит к другим заговорщиков на задний план и захватывает царскую власть (III, 81—87).

Для суждения о Геродоте и его объективности как историка в данном случае не имеет значения, выдумал ли он случай с гаданием, давшим власть Дарию, сам или слышал эту басню от персов. Важно то, что дилемма правда — ложь не сочинена Геродотом, а составляет глубокую основу реального идеологического конфликта в персидском государстве времени Камбиса — Дария. Геродот не принимает сторону Дария и становится как судья над всеми, кто с помощью обмана добывается власти.

Цель истории для Геродота — это поэтическое переосмысление фактов. При этом разница между историком и драматургом часто сводится к тому, что драматург оперирует, как правило, фактами древнейшей мифической истории, а историк — современной. Поэтому представляет особый интерес сравнение труда Геродота с тем единст-

<sup>20</sup> Reinhardt K. Op. cit.

<sup>21</sup> Altheim Fr. Op. cit.

<sup>22</sup> Shabo A. Op. cit., p. 76 sqq.

венным дошедшим до нас драматургическим произведением, которое посвящено не древней, а современной истории<sup>23</sup>. Сравнение это может иметь для понимания характера труда Геродота тем большее значение, что историк и драматург разрабатывают один и тот же сюжет — поход Ксеркса на Элладу.

И у Эсхила, и у Геродота действие начинается в лагере персов, что полностью отвечает задаче развития драматического конфликта и цели обоих авторов показать изменчивость человеческого счастья. Чтобы события захватывали зрителей или слушателей, необходимо было изобразить разгром Ксеркса не как неожиданную катастрофу, а как следствие решения, принятого богами и не понятого трагическим героем.

Геродот делает вопрос возобновления войны предметом обсуждения на царском совете. Созданная Геродотом картина царского совета создает ситуацию, подготовившую последующую трагическую развязку. Мардоний предлагает Ксерксу покарать дерзких афинян с тем, чтобы в будущем ни один враг не осмеливался последовать их примеру. Кроме того, он напоминает Ксерксу о богатстве Европы и о том, что из смертных один царь достоин обладать ею, указывает на неопытность эллинов в военном деле и их внутренние раздоры (VII, 5—9). Против этих взглядов, разделяемых царем и всеми членами царского совета, открыто выступает Артабан, сын Гистаспа. Чтобы объяснить, почему перс осмелился выступить против царской воли, Геродот считает нужным пояснить, что Артабан полагался на свое близкое родство с царем (VII, 10, 1). Артабан советует Ксерксу не торопиться с решением, чтобы, если оно приведет к несчастью, пенять на рок, а не на себя. Устами Артабана высказывается уже знакомая нам мысль об изменчивости человеческого счастья и зависимости от божества: «Ты видишь, как перуны божества поражают стремящиеся ввысь живые существа, не позволяя им возвышаться в своем высокомерии над другими. Малые же создания вовсе не возбуждают зависти божества. Ты видишь, как бог мечет перуны в самые высокие дома и деревья. Ведь божество все великое обыкновенно повергает в прах. Также и малое войско может сокрушить великое...» (VII, 10, 4—5).

<sup>23</sup> Дерагани Н. Ф. Эсхил и греко-персидские войны.— ВДИ, 1946, № 1, с. 18.

Хотя Артабану была дана гневная отповедь, его слова зарождают в душе царя сомнения в правильности принятого решения. Начинается столь характерное для трагедии и мало подходящее к исторической ситуации колебание героя. Ксерксу, как рассказывают персы, является во сне призрак и советует идти войной на Элладу. Не веря призраку, Ксеркс вновь созывает царский совет, приносит публичное извинение Артабану, меняет решение о походе. На следующую ночь призрак является снова и еще более настойчиво требует выступления против эллинов. Ксеркс продолжает не доверять сновидению и просит Артабана, чтобы тот, одевшись в царскую мантию, заснул на его ложе. Во сне Артабану является тот же призрак с угрозами. Мудрый советник царя сломлен и, отказавшись от своего спасительного совета, рекомендует Ксерксу немедленно выступить в поход (VII, 17—18). Перед отправлением царю снится еще один сон, будто он увенчан оливковым венком, ветви которого распространились по всей земле. Маги истолковывают сон в том смысле, что все народы подчиняются власти персов, и лишь после этого, уверенный в победе, Ксеркс идет на войну, к гибели (VII, 19, 1—2).

Действие трагедии Эсхила, предшествующей истории Геродота на четверть века, также начинается в царском совете. Перед советом вельмож, составляющих хор, появляется Атосса, мать Ксеркса. С тех пор как Ксеркс опустошает Грецию, ей снятся тревожные сны, и последний из этих снов кажется царице ясным указанием беды. Смысл переданного Эсхилом сна Атоссы соответствует тому пониманию конфликта между Западом и Востоком, которое характерно для Геродота. Эллада и Персия, родные сестры, оказываются запряженными в колесницу царской власти. Одна из сестер покорно подчиняется вожжам, а другая (Эллада) рвет упряжь и ломает ярмо («Персы», с. 193—196).

Эсхил, а вслед за ним и Геродот, показывают решающее влияние божества на историю. Воля богов выявляется с помощью сна. Атоссе боги возвещают свою волю правдивым сном. Ее сыну Ксерксу они посылают ложный сон. Однако мотив заблуждения, столь настойчиво развиваемый Геродотом в рассказе о Ксерксе, появляется еще у Эсхила. Уже в пародии трагедии Эсхил вспоминает богиню заблуждения Ату, вовлекающую смертных в свои сети («Персы», 93—101). Мстительный обман божества, о котором рассказывает Геродот в связи с колебаниями Ксеркс-

са перед началом войны, проявляется, согласно Эсхилу, на ее заключительном этапе. Не Фемистокл, а какой-то демон подговаривает царя вести свой огромный флот в узкий пролив. Не тактическая ошибка, а заранее принятое решение богов ведет к страшному поражению персов.

У обоих авторов, драматурга и историка, Ксеркс — жертва мстительного божества, толкающего царя на неверный и гибельный шаг. Обнаруживается полный параллелизм и в мотивировке Эсхилом и Геродотом причины ненависти богов к Ксерксу. У Эсхила вызванная из гробницы тень Дария объясняет поражение сына его самонадеянностью, разорением греческих кумиров и алтарей, обузданием Геллеспонта («Персы», 744, 751). Тот же мотив кары за религиозные преступления вкладывается Геродотом в уста предводителя эллинов Фемистокла: «Этот подвиг совершили не мы, а боги и герои, которые воспротивились тому, чтобы один человек стал властителем Азии и Европы, так как он нечестивец и беззаконник. Он ведь не щадил ни святилищ богов, ни человеческих жилищ, предавая огню и низвергая статуи богов. И даже море повелел он бичевать и наложить на него оковы» (VIII, 109).

Влияние приемов и техники трагедии на Геродота было замечено исследователями еще прошлого века, а в работах последних десятилетий нашего века его констатация сделалась едва ли не общим местом<sup>24</sup>. Однако нельзя сказать, что современные исследователи в полной мере выяснили, насколько техника трагедии, став формой исторического труда, сказалась на его содержании, в какой мере она определила характер античного историко-драматического жанра. Влияние драмы, как мы видели, распространяется на подход историка к материалу, на его философию истории.

В мировоззрении Геродота могут быть выявлены не только черты полисной идеологии, но и следы ее начавшегося разложения. Геродот религиозен и часто сообщает о предсказаниях и оракулах. Но наряду с этим он делает шаг к более абстрактной религии. В его произведении появляется ссылка на «божество» без указания его имени. С точки зрения Геродота, Ксеркса покарал не какой-то эллинский или персидский бог, а божество, общее для эллинов, персов и вообще для всех людей (VII, 10, 5). «Бо-

---

<sup>24</sup> Waters H. The Purpose of Dramatisation in Herodotus.—*Historia*, 1966, XV, p. 157.

жество» Геродота ни в коей мере не олицетворяет разума или справедливости. Оно непознаваемо и делает все для того, чтобы скрыть свою истинную волю. Оно насылает лживые сны, дает двусмысленные или ложные предсказания. Человек в своей деятельности оказывается всецело во власти божества, и даже, ведя безупречную жизнь, может принять кару за преступления своего далекого, неизвестного предка. И все же наибольшие несчастья постигают того, кто стремится возвыситься и занять неподобающее место. Божество безжалостно карает всех, превысивших меру вещей, захвативших себе больше власти и больше счастья, чем ему предназначено судьбой.

Так же, как и у Гекатея, в труде Геродота явственны элементы рационалистической критики мифов<sup>25</sup>. Вопреки мифу об образовании Темпейской долины Посейдоном, Геродот считает, что долина — следствие землетрясения (VII, 129). Геродот отвергает миф о пребывании Геракла в Египте и попытке принесения его в жертву египетским богам: «По моему мнению, подобными рассказами эллины только доказывают свое полное неведение нравов и обычаев египтян» (II, 45). Критика данного мифа основывается на полученном во время пребывания в Египте знании религии местного населения, не признававшей человеческих жертвоприношений и принесения в жертву большинства животных<sup>26</sup>. Критикуя рассказ жриц Додоны об основании культа по указанию вещей египетской голубки, Геродот объясняет, что голубкой назвали пришлую женщину, речь которой напоминала птичий щебет (II, 57). Не веря рассказам о наполняющем воздух пухе, Геродот полагает, что под пухом надо подразумевать снег (IV, 31). Критически относится Геродот к преданию, что помог грекам сокрушить персидский флот у Артемисия северный ветер (Борей), внявший мольбам эллинов. Геродот уверен, что моление Борею было совершено уже после того, как началась буря (VII, 189).

Геродот выступает противником мнения о древности верований греков в богов, полагая, что имена почти всех греческих богов имеют египетское происхождение и их

---

<sup>25</sup> Борухович В. Г. Историческая концепция египетского логоса Геродота. В кн.: Античный мир и археология. Саратов, 1972, вып. 1, с. 71.

<sup>26</sup> На хорошем знании Геродотом египетской религии настаивают многие египтологи. Из последних работ см.: Авдиев В. И. Египетская традиция в труде Геродота.— ВДИ, 1977, № 1, с. 184 и сл.

передатчиками были пеласги (II, 50—52), родословная же богов и их иконография созданы лишь Гомером и Гесиодом (II, 53).

Рационалистическая критика мифов и представлений о богах не является у Геродота последовательной и снабжена многочисленными оговорками, смягчающими ее остроту. Неоднократно после критики мифа он обращается с просьбой к богам извинить его за вольность. Он избегает касаться религиозных сюжетов из страха перед богами.

Трудно сказать, что в этом мировоззрении навеяно господствующей религией, а что связано с личным опытом человека, лишенного родины, изгнанника, но, во всяком случае, Геродот далек от оптимистического представления о прогрессе, о всемогуществе человека. Признание могущества рока и предопределенности жизни божеством сочеталось у Геродота с пытливым интересом к миру и к человеческой природе. В этом Геродот иониец и наследник ионийской науки. О путях ее влияния на Геродота можно спорить. Не исключено, что «отец истории» мог быть непосредственно знаком с трудами Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена. Однако совершенно определено, что источником влияния ионийской науки был Гекатей Милетский. Геродот упоминает его не менее пяти раз, прямо по имени и среди «прозаиков» (logopoiis). Три из этих упоминаний связаны с Ионийским восстанием<sup>27</sup>. Остальные с научными вопросами, с древнейшей историей Египта и Аттики. Но влияние Гекатея и ионийской науки может быть выявлено и в тех случаях, когда Геродот ссылается на «египетских жрецов», сведения которых до него использовал Гекатей. Гекатей был близок к философу Анаксимандру, автору труда «О природе», в котором шла речь о возникновении и ранних этапах истории человечества. Анаксимандр считал, что земля была первоначально покрыта водой или болотами, и люди, родившиеся и жившие в этих болотах, постепенно заняли сухие места. Иллюстрацией этой теории служил Египет, и Гекатей в своем описании Египта исходил из нее.

Знакомство с этой теорией Геродота обнаруживается при чтении его второй книги, посвященной Египту. Геродот называет Египет «даром Нила». То, что в этом он следует за Гекатеем, явствует из слов Арриана: «Геродот и Гекатей, прозаики, называли Египет даром реки» (Anab.,

---

<sup>27</sup> Herod., V, 36; 125; 126.

V, 6, 5). К Гекатею восходит и все то, что в труде Геродота относится к истокам Нила и его разливам, в том смысле, что Геродот брал у своего предшественника постановку вопросов. Ответы Геродота на них не всегда совпадают с решениями Гекатея, но в этом следует видеть не негативизм по отношению к ионийской науке, а проявление присущего Геродоту, равно как и ионийским ученым, скептицизма. Геродот высмеивает взгляд Гекатея, что Нил вытекает из другого моря, исходящий из теории об океане, омывающем круг земли (IV, 36; ср. II, 21; IV, 8), но не сомневается в теории о симметричном расположении Нила и Дуная. В ее пользу привлекается сообщение неких насамонов, пересекших пустыню и увидевших реку, полную крокодилов (II, 32). Принимая теорию, основанную на неправильном отождествлении Нила с какой-то другой африканской рекой (Конго?), Геродот отвергает сообщение о финикийских мореплавателях, обогнувших Африку, на том основании, что, по их словам, во время плавания они видели солнце справа от корабля (IV, 42).

Сложным является вопрос о политических взглядах и симпатиях Геродота. В старой литературе его признавали безоговорочным сторонником демократии<sup>28</sup>. Это мнение основывалось на содержащейся у Геродота похвале Клисфену, выдержавшему натиск целой коалиции аристократических государств, и конечному выводу Геродота о роли равноправия в росте могущества Афин: «Ясно, что равноправие для народа не только в этом отношении, но и вообще хорошая вещь» (V, 78). Оно опиралось также на то, что Геродот подчеркивает заслуги афинян в греко-персидских войнах (VII, 139), и на его отношение к Периклу в рассказе о сне матери Перикла незадолго до его рождения (рождение льва) — VI, 131. Попытка поколебать господствующее мнение о демократических симпатиях Геродота была предпринята Штрасбургером<sup>29</sup>. Панегирик демократии в пассаже о Клисфене он истолковывает в том смысле, что Геродот был сторонником ранней формы демократии, а не ее поздней Перикловой. Основываясь на соннике Артемидора, явление роженице во сне льва Штрасбургер считает дурным предзнаменованием. Похвалы Афинам за их участие в войне он не считает по-

<sup>28</sup> Meyer Ed. Forschungen zur Alten Geschichte. Hall., 1899, S. 136.

<sup>29</sup> Strassburger H. Herodot und das perikleische Athen.—Historia, 1955, 4, S. 1 sqq.

казателем демократических убеждений историка, а просто констатацией их военных заслуг. Помимо этого Штрасбургер находит в тексте места, якобы свидетельствующие о враждебном отношении Геродота к демократии и к Периклу. Это: 1. Отрицательная оценка персом Мегабизом власти необузданной черни во время спора «семи персов» о наилучшей форме правления (III, 82), и принятие на основании этой оценки решения о монархии как наилучшем строе; 2. Отъезд Геродота в Фурии как протест против политики Перикла или выражение несогласия с его политикой.

Доводы Штрасбургера слишком шатки, чтобы опровергнуть мнение о демократических симпатиях Геродота. Похвалы Геродота демократии и свободе относятся к демократии в целом, а не к какой-либо ее форме, хотя бы потому, что Геродот не дожид до радикальной демократии Клеона. Передавая сон матери Перикла, Геродот имел в виду будущее величие ее сына, а не зло, которое он принесет Афинам, ибо последствия великодержавной политики Перикла также выявились позднее. Это явствует не только из контекста (VI, 131), но и из положительного истолкования льва другими авторами V в. до н. э. и из того, что детям в это время давали имена Леон и Леонид. Критика демократии в споре «семи персов» не доказывает, что Геродот был с нею согласен, поскольку он не симпатизирует Дарию, избравшему монархию, и называет его лжецом. Также нет оснований истолковывать отъезд Геродота в Фурии как бегство из Афин по политическим мотивам. Правы старые историки, рассматривавшие участие историка в колониальном предприятии Перикла как свидетельство поддержки политики афинского стратега.

Мы вполне можем говорить о демократических симпатиях Геродота. Но их не следует преувеличивать и рассматривать Геродота как безоговорочного сторонника демократии или как «афинского агитатора», выполнявшего задание Перикла. Геродот был достаточно самостоятелен в своих убеждениях. Его похвалы демократии можно понять в том смысле, что она полезна, если во главе государства стоят такие достойные люди, как Клисфен и Перикл. Даже ненавистная Геродоту тирания<sup>30</sup> может ока-

---

<sup>30</sup> Геродот вкладывает в уста коринфянину Соклу следующие слова: «Нет ведь на свете никакой другой более несправедливой власти и более запятнанной преступлениями, чем тирания» (V, 92). У Ге-

заться вполне приемлемой, если власть оказывается в руках таких достойных людей, как Поликрат. Рассказ о Поликрате вклинивается в персидский логос как один из примеров могущества судьбы (III, 39—60). Говоря о приходе Поликрата к власти, Геродот констатирует, что он стал владыкой острова, подняв народное восстание и установив троевластие вместе с двумя братьями, а потом установил и единоличную власть, изгнав одного брата, а другого убив (III, 39, 1—2). Геродот не осуждает Поликрата за эти преступления, а в дальнейшем изложении восхищается его могуществом, получившим признание в заключении союза с египетским царем Амасисом. Геродот не осуждает Поликрата за то, что тот разорял без разбора земли друзей и врагов, заставлял работать своих пленников в окопах, принял участие в завоевании персами союзного Египта. Трагическую участь Поликрата Геродот объясняет не возмездием за эти преступления и предательства, а его чрезмерным счастьем, вызвавшим зависть божества. Во всем описании судьбы Поликрата чувствуется его симпатия к человеку, невинно пострадавшему и разделившему участь других выдающихся людей. Геродот не питает и предубеждения к монархии, если цари ведут разумную и умеренную политику, не проявляя надменности и деспотизма. В этом отношении показательна его характеристика личности египетского царя Амасиса и достигнутого при нем благосостояния египетского государства (II, 172—177).

Источники Геродота и его отношение к ним — одна из наиболее спорных в современной науке проблем. От ее решения зависит общая оценка Геродота как историка. Главным источником информации Геродота были устные рассказы знатоков истории и очевидцев событий. Иногда Геродот называет своих информаторов поименно, но чаще всего дает ссылку неопределенного характера: «лидийцы», «египтяне», «персы» или «коринфяне», «афиняне», «аркадяне», «македоняне», «халдеи». В новейшей литературе имеется попытка доказать, что ссылка на целую народность или жителей целого города — прием, характерный для так называемой «литературы лжи» и что Геродот ссылается на мнимых информаторов в тех случаях, когда у него полностью отсутствуют достоверные данные<sup>31</sup>. Если

родота имелись и личные причины для ненависти к тиранам — он был лишен тираном Карию родины.

<sup>31</sup> Fehling G. Die Quellengaben bei Herodots. Berlin, 1971.

принять эту точку зрения, то мы должны будем фактически перечеркнуть весь труд Геродота и отказаться от его использования в качестве источника. Но ведь многое из того, что сказано Геродотом со ссылкой на целые народы и города, соответствует истине или действительно среди данного народа или города в качестве легенды. И в этом последнем случае Геродот не несет ответственности за содержание этих сведений, тем более, что он не устает напоминать, что передает то, что слышал, а так это или нет, он не берется утверждать (например, II, 123; VII, 152). Таким образом, указание Геродотом источников устной информации вовсе не преследует цель ввести слушателей или читателей в заблуждение, а, напротив, предупреждает их о том, чтобы они отнеслись к рассказам с терпимостью или осторожностью. Это, разумеется, еще нельзя назвать критикой источников, но это далеко от лжи, умышленной фальсификации, в чем обвиняют Геродота его давние и современные недоброжелатели.

Из многочисленных во времена Геродота литературных источников мы находим у него лишь ссылки на Гомера и Гекатея. С последним он часто полемизирует. Иногда он ссылается на «ионийцев». Вполне возможно, что это не только Гекатей, но и другие историки той же плеяды. Определить их поименно невозможно даже в том случае, когда в сохранившихся отрывках произведений ионийских историков речь идет о тех же событиях, что и у Геродота. Ведь Геродот мог пользоваться устной традицией этого события или получить сведение о нем каким-либо иным путем.

В подтверждение своей правоты Геродот нередко ссылается на документальные источники — стелы, надписи, картины, сооружения — и подчеркивает, что он их видел собственными глазами. В ряде случаев это действительно так. Находки подтвердили правильность изложения Геродотом содержания надписей из Халкиды (V, 77), Самоса (VI, 14), Фермопил (VII, 228). В то же время ряд памятников он просто выдумал, а другие не понял. Выдумкой Геродота является стела, изображающая всадника с надписью «Дарий сын Гистаспа обрел себе персидское царство доблестью своего коня и конюха Эбара» (III, 88). Возможно, он и слышал о надписи на Бисутунской скале, которую сопровождают рельефные изображения. Но не имея о ней представления, преобразил ее в стелу, а текст надписи сочинил в соответствии с легендой о конюхе, с

помощью которого Дарий обманул других претендентов на персидский престол.

Со слов своих информаторов Геродот передает содержание надписи в нижней части пирамиды Хеопса (II, 125), надписи на гробнице из глиняных кирпичей Асихиса (II, 136), надписи на каменной статуе фараона Сефа (II, 141). Перевод египетских текстов совершенно фантастичен<sup>32</sup>. Разумеется, эту нелепицу можно отнести за счет гидов, рассказывавших чужеземцам всяческие небывлицы. Но ко времени посещения Геродотом Египта греки там жили около 200 лет, и историк мог бы более разборчиво отнестись к выбору информаторов. К тому же Геродот не понял некоторые надписи, виденные им в Греции. Так, он с такой же уверенностью передает содержание надписи, которую он видел своими глазами в греческих Фивах, замечая, что она написана кадмейскими письменами (V, 59). Если под последними имелись в виду тексты линейного письма Б, то их смысл не мог быть понятен в то время, если же греческого (финикийского), то в надписи не мог быть упомянут как их составитель отец Геракла, так как между ним, если это было реальное лицо, и принятием греческого (финикийского) алфавита прошло не менее трехсот лет.

Более тщательно Геродот использовал сборники изречений оракулов, прежде всего, дельфийского. Но сам этот источник в силу его стремления возвеличить мудрость и правдивость жрецов имеет достаточно сомнительный характер.

Ставя вопрос о принципах отбора Геродотом материала для своего труда, мы сталкиваемся со значительными затруднениями. Материал, сообщаемый Геродотом, столь разнообразен по своему характеру, что может даже возникнуть сомнение, были ли у Геродота эти принципы. Понимание им цели труда — сохранить от забвения все, что совершено людьми — позволяло ему говорить обо всех народах земли без исключения, независимо от того, входили или не входили они в состав персидской державы, относились или не относились к числу ее противников. И все же при чтении труда Геродота не создается впечатления, что это набор географических, культурно-историче-

---

<sup>32</sup> Brown T. S. Herodotus speculates about Egypt.— *American Journal of Philology*, 1965, vol. LXXXVI, 1, p. 60 sqq. Из более ранних работ см.: Spiegelberg W. *Die Glaubwürdigkeit von Herodots. Bericht über Egypten*. Berlin, 1926.

ских, этнографических данных. Перед нами связный рассказ, точнее, серия связных рассказов, объединенная не только личностью рассказчика, но и общей логикой повествования. Многочисленные отступления от основной темы не утомляют слушателя или читателя, если он, как и рассказчик, отличается любознательностью и широтой взглядов.

Несомненно, Геродот внес в свой труд не все, что знал об окружающем его мире, не все, что слышал от своих собеседников. Не раз, выбирая ту или иную версию событий, указывает, что ему известны другие, которые он отвергает (например, I, 95; I, 214). Разумеется, это не значит, что его выбор был безукоризненным, но во всяком случае он существовал. Чаще всего Геродот отбрасывает все то, что кажется ему противоречащим элементарной логике. Во всяком случае, каковы бы ни были его соображения, у нас нет оснований думать, что Геродот в угоду своим взглядам чернит или, наоборот, возносит того или иного политического деятеля.

Объективность Геродота по отношению к варварам, отсутствие у него ненависти к персам, вызвали бурю негодования у Плутарха, отделенного от «отца истории» пятью столетиями, три из которых прошло под властью римлян. Позиция Геродота, казалось бы, зачеркивала героическое прошлое греческого народа и жестоко ранила его самолюбие. Но ярость позднего историка по отношению к Геродоту говорила лишь об отсутствии у него исторического чутья и стремлении превратить историю в хрестоматию поучительных примеров. Конфликт между Геродотом и его критиком — это конфликт между историком и моралистом, между писателем жизни такой, какая она есть, и резонером. Цицерон назвал Геродота «отцом истории», и он достоин этого почетного титула по обширности своего труда и ценности содержащихся в нем сведений. Сила Геродота в его легкомысленности и живости, позволяющих нам знакомиться с такими сторонами жизни, какие обычно ускользают от внимания «серьезных историков». В нем, этом старике Геродоте, нет ни тени патриархальной наивности. Это остроумный и лукавый рассказчик, стоящий на голову выше своих критиков.

Недостатки труда Геродота, объясняемые как его мировоззрением, так и тем, что он стоял у истоков историографии, не дают основания оспаривать правильность данного ему в древности титула — отец истории. Историче-

ский труд Геродота обладал рядом достоинств, возвышающих его не только над современными ему историками, но и над многими историческими писателями других эпох. И главное из достоинств — это универсализм, благодаря которому в поле зрения историка (а следовательно, и в нашем) оказываются не только греки и персы, но и многие другие народы ойкумены. Другое достоинство — объективность по отношению к противникам, которая казалась некоторым неумеренным поклонникам греческого величия кощунственной. И даже некоторые недостатки Геродота как историка, мешавшие ему правильно понять смысл происходящих событий, оказываются для нас достоинствами, поскольку они характеризуют нас лучше, чем что бы то ни было, человека эпохи полисного строя, еще не подвергшегося разложению.

\*            \*  
\*

«Фукидид, афинянин, написал историю войны между пелопоннессцами и афинянами, как они вели ее друг против друга». Эти слова, которыми открывается монография Фукидида, четко определяют намерения историка. Он поставил перед собою цель написать историю Пелопоннесской войны (431—404 г. до н. э.), а не историю Греции времени Пелопоннесской войны. И если мы находим в его труде сведения, не относящиеся к военной стороне дела, то это своего рода отступления от основной темы, с помощью которых автор стремится объяснить причины войны в целом, планы воюющих сторон, обстоятельства той или иной военной операции.

Обогащенный духовным движением своего времени, распространением софистики с ее естественнонаучным подходом ко всем явлениям жизни, Фукидид стремился дать такое изложение Пелопоннесской войны, которое содержало бы максимально объективный анализ военных событий и стоящих за ними социальных и политических сил, а также и мотивировку поведения политических деятелей и полководцев.

Один из древних биографов Фукидида Маркеллин замечает, что «в расположении содержания Фукидид соревновался с Гомером» (Marcel., 35). На самом деле, «История» Фукидида обладает сложной композицией, во многом напоминающей композиционный рисунок гомеровских поэм. Наряду с последовательным изложением событий по годам

и сезонам в труде имеются многочисленные экскурсы в прошлое, отступления, обычные в поэтических произведениях<sup>33</sup>. Первым таким отступлением, вклинивающимся во введение, является рассказ о древнейшей истории Эллады. Он включается для доказательства того, что войны прошлого по своим масштабам и значению уступают той войне, которую историк намерен описать. Этот экскурс, охватывающий 2—19-ю главы I книги, античный комментатор назвал «археологией», т. е. древней историей. После «археологии» Фукидид заканчивает введение и в двух главах (21—23) высказывает свое отношение к задачам историка и целям исторического труда, формулирует скрытую от поверхностного взгляда причину Пелопоннесской войны — усиление Афин, внушавшее страх лакедемонянам. В последующих главах (24—88) обстоятельно излагаются поводы войны — конфликт Афин с Коринфом из-за Керкиры и Потидеи, обусловивший обращение Коринфа к главе Пелопоннесского союза Спарте с призывом начать войну против Афин. Затем автор вновь возвращается к намеченной во введении причине Пелопоннесской войны и в связи с этим показывает рост могущества Афин после войны с персами (главы 89—117). Заключительная часть первой книги содержит изложение переговоров между государствами — членами Пелопоннесского союза, с одной стороны, и Афинами, — с другой. Такова в достаточной мере сложная композиция первой книги, напоминающая движение по лабиринту к его центру. Отступления, экскурсы в прошлое характерны и для других книг Фукидида.

Стиль повествования, как он предстает перед нами уже в первых страницах истории Фукидида, разительно отличается от стиля Геродота и других представителей античной историографии. Античные критики хорошо это понимали, и Дионисий Галикарнасский назвал метод первой книги аподиктическим, т. е. аргументированным, доказательным, научным. Историк старается воздействовать не на наши эмоции, а на разум и пробудить в нем ход мыслей в нужном ему направлении. Направление же определяется постановкой цели труда — описание истории Пелопоннесской войны. Большая часть первой книги может рассматривать-

---

<sup>33</sup> Münch H. Studien zu den Exkursen des Thukydides «Quellen und Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums und des Mittelalters». Heidelberg, 1935; Reihe D., Heft 3, Ziegler K. Der Ursprung der Exkurse in Thukydides.— Rheinische Museum, 1929, LXXXVIII, S. 58—67.

ся и как демонстрация историком преимуществ своего тезиса по сравнению с наивными, как ему казалось, приемами предшественников, и как подготовка читателя к пониманию причин Пелопоннесской войны.

Главный тезис Фукидида о том, что Пелопоннесская война вызвана усилением могущества Афин, обусловившим страх лакедемонян, подтверждается на исторических примерах возвышения других государств. Сама проблема могущества (*dynamis*) поднимается на теоретический уровень, и ставится вопрос о факторах, способствующих усилению государства<sup>34</sup>.

Важнейшим фактором усиления государства Фукидид считает обладание морским флотом<sup>35</sup>. Минос добился могущества только благодаря флоту (I, 4), и Троянская война стала возможной только потому, что у греков появился флот, хотя Фукидид и не говорит о морском могуществе Агамемнона (I, 10). Коринфяне были первыми, кто понял значение флота и основал на нем свое господствующее положение в Элладе (I, 13). И, наконец, значение Афин как могущественного государства выявилось лишь после того, как Фемистокл увидел спасение афинян, подвергшихся натиску персов, в строительстве флота.

Оценивая общетеоретическое положение древнего историка о флоте как главном факторе усиления государства, мы не можем не заметить, что оно покоится на понимании расстановки сил в современной ему Греции и перспектив войны со Спартой и ее союзниками. В приложении к древнейшей истории это утверждение выглядит в определенной мере модернизацией. Если власть Миноса действительно основывалась на обладании флотом, то в образовании державы Агамемнона этот фактор не играл столь существенной роли, что явствует из анализа самим же Фукидидом списка греческих кораблей у Гомера (I, 10, 4 и сл.). Но выявление историком роли флота не только показывает место, которое занимает морское могущество в греческой мысли, но и характеризует самого Фукидида как сторонника стратегического плана Перикла<sup>36</sup>.

Наряду с обладанием флотом могущество государ-

---

<sup>34</sup> Beyer K. *Das Proemium des Thukydidens*. Marburg, 1971, S. 47.

<sup>35</sup> Momigliano A. *Sea-power in Greek Thought*. Secondo contributo alla storia di studi classici. Roma, 1960, p. 57—68.

<sup>36</sup> Diesner H. *Wirtschaft und Gesellschaft bei Thukydidens*. Halle, 1956.

ства, согласно Фукидиду, зависело также от богатства и бедности почвы, густоты населения, денежных средств. Не придавая экономике решающего значения, Фукидид постоянно обращает внимание на экономические моменты. Описывая древнейшее состояние Эллады, отсутствие прочного поселения племен и их постоянное перемещение, Фукидид указывает в качестве причины слабости отсутствие торговли и безопасных сношений по суше и морю, приводящее к тому, что никто не стремился к излишку в средствах и к обработке земли. На те же самые моменты обратил бы внимание и современный историк с той лишь разницей, что он поставил развитие торговли и безопасности сношений в зависимость от уровня земледелия. В этой же второй главе Фукидид указывает, что передвижения населения происходили в наиболее богатых областях Эллады. Автохтонность обитателей Аттики Фукидид связывает не с их героическим сопротивлением пришельцам, а со скудостью почвы, не привлекавшей к себе жадных взоров чужеземцев.

Не только почва, но и географическое положение служит, согласно Фукидиду, важным историческим фактором. Так, возвышение Коринфа связано с тем, что он находился на перешейке, и эллины, жившие по обе стороны перешейка, не могли для сношения друг с другом обойти Коринф (I, 13, 5). Такой важный переворот, как падение наследственной царской власти и возникновение единоличного правления (тирании), Фукидид связывает с ростом благосостояния в греческих государствах и овладением морем. Само же овладение морем объясняется результатом притока денежных средств (I, 15).

Было бы ошибочным рассматривать на этом основании Фукидиде как предшественника экономического материализма. Все экономические и демографические моменты Фукидид не считает факторами исторического процесса, а лишь обстоятельствами, способствующими усилению того или иного государства в военном отношении. В то же самое время вряд ли можно назвать другого древнего историка, который бы так глубоко осознавал зависимость войны от экономики и финансов, как Фукидид.

Социальное устройство общества интересует Фукидиде лишь постольку, поскольку оно может объяснить стратегию воюющих сторон и военную обстановку. В этой связи наиболее часто Фукидид упоминает илотов, спартанское зависимое население, находившееся на положении рабов.

Фукидид подчеркивает, что с наличием илотов считались в своих военных планах как спартанцы, так и афиняне. Спартанцы должны были, с одной стороны, учитывать возможность восстания илотов и принимать соответствующие меры по уменьшению их численности (I, 128, 1; IV, 80). С другой стороны, спартанцы стремились использовать страстную мечту илотов о свободе для поручения им опасных операций и включали их в свое войско (IV, 8, 9; IV, 26, 5—8; V, 34, 1; V, 57, 1; V, 64, 2 VII, 19, 3; VII, 58, 3). Афиняне же, зная о положении илотов, могли рассчитывать на их восстание и бегство из спартанской армии (IV, 41, 3; V, 14, 3; V, 35, 7).

Военная обстановка заставляет Фукидида сказать о наличии у хиосцев большого количества рабов: «Дело в том, что у хиосцев было множество рабов, больше, нежели в каком бы то ни было другом государстве, кроме Лакедемона. Они вследствие их многочисленности, подвергались за всякую вину слишком жестоким наказаниям. Поэтому лишь только оказалось, что афиняне при помощи своих укреплений утвердились здесь прочно, большинство рабов тотчас перебежало к ним и, благодаря знанию местности, причиняло стране величайшие бедствия» (VIII, 40, 2). Те же военные обстоятельства побудили Фукидида рассказать о бегстве 20 тысяч афинских рабов, главным образом, ремесленников из города, блокируемого Спартой (VII, 27, 5). Об активности и солидарности рабов для достижения свободы или установления справедливых порядков Фукидид не сообщает, хотя задолго до Пелопоннесской войны (464 г. до н. э.) произошло грандиозное восстание илотов.

В связи с описанием военных действий Фукидид сообщает о переселении сельских жителей в Афины и об оппозиции сельского населения политике Перикла. Однако у историка нет теоретической оценки противоположности между населением города и деревни.

В годы Пелопоннесской войны в различных частях греческого мира происходила ожесточенная социальная борьба среди свободного населения. Фукидида эта борьба сама по себе не интересует, и он не стремится выяснить ее причины. Он касается ее лишь постольку, поскольку это объясняет возникновение военного конфликта и влияет на военную обстановку (III, 70)<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Grene D. Greek political Theory. Chicago and London, 1965, p. 9.

Сущность и содержание истории для Фукидида — это борьба за власть, которая ведется народами, государствами, группами людей и отдельными индивидуумами в мирное время политическими средствами, а во время войны с помощью оружия<sup>38</sup>. Эта борьба трактуется историком не как извращение присущих человеку или человечеству черт, а, напротив, как закон природы. «Не мы первые, — заявляют афинские послы в Спарте, — ввели такой порядок, а он существует искони, именно, что более слабый сдерживается более сильным» (I, 76, 2). С удивительной для дипломатов откровенностью обосновывается право сильного господствовать над слабым и необходимость слабого подчиняться сильному (I, 77, 4). И у нас не возникает сомнения, что вся эта аргументация принадлежит самому Фукидиду, поскольку он и в ряде других случаев объясняет войну свойствами человеческой природы. При подобном подходе к войне труднее объяснить, не почему она возникает, а почему государства вступают друг с другом в соглашения и существуют промежутки мира между войнами. Ответ на этот вопрос дается Фукидидом, исходя из той же человеческой природы. Человеку присущи не только честолюбие, жадность, жестокость, но и страх. В том случае, когда страх является обоюдным, противники прячут мечи в ножны и заключают союз: «только равный обоюдный страх есть залог прочности союза потому, что, если одна сторона желает нарушить в чем-либо союз, ее останавливает то соображение, что при нападении она может не иметь перевеса» (III, 17, 2).

Это понимание характера войны Фукидид распространяет и на Пелопоннесскую войну, которую он излагает. Соперничество между Спартой и Афинами длилось на протяжении пятидесяти лет после победы над персами. Неоднократно возникали и конфликты, но страх удерживал обе стороны от военных действий, пока спартанцы не поняли, что постоянный рост могущества Афин может быть сдержан только силой. Окончательному принятию решения о войне способствовало присоединение островного государства Керкиры к Афинскому морскому союзу, нарушающее равновесие сил (I, 43—55).

Развиваемая Фукидидом идея причинности и законосообразности в полной мере согласуется с его мировоззре-

---

<sup>38</sup> Вeyer К. Op. cit., S. 69.

нием, рационалистическим в своей основе<sup>39</sup>. То или иное течение событий Фукидид связывает с деятельностью людей, а не вмешательством богов. Историк отрицает сверхъестественный характер таких явлений, как затмения, бури, наводнения. Оракулам он не придает серьезного значения. Сообщая об обращении спартанцев к дельфийскому оракулу в начале войны, Фукидид замечает: «говорят, бог отвечал» (I, 118, 3). Равным образом, сообщая об изречении оракула по поводу чумы в Афинах, он осторожно говорит: «имелось предположение, что события оправдали это изречение» (II, 54, 5). Здесь он не высказывает своего мнения, а скрывает его за «вводными словами». В одном случае он говорит об исполнении предсказания: «Лучше Пеларгику быть невозделанным». Но оказывается, что оракул исполнился в смысле, обратном тому, чем предполагалось (II, 17, 2).

Не придавая богам роли вершителей человеческих судеб, Фукидид выступает как атеист и ученик Анаксагора, каким его и считали в древности. В то же самое время мы не найдем у него выпадов против традиционной религии. Он не одобряет тех, кто разбил гермы и тем самым дал повод для обвинения Алкивиада, но он не объясняет этим кошунством сицилийскую катастрофу, хотя это объяснение казалось бы лежит на самой поверхности.

Фукидид упоминает судьбу (*απαρκε*), допуская некоторую долю ее влияния на течение событий. Но судьба Фукидида мало чем напоминает рок Геродота. Чаще всего это стечение обстоятельств, которое приводит к неожиданным результатам, например, к резне в городке Микалессе, где фракийские наемники перерезали всех школьников (VII, 29). Но это не тот случай, который ниспосылается сверху, а обстоятельства, которые нельзя было предвидеть и предотвратить.

Пелопоннесская война, описание которой являлось главной целью Фукидида, была столкновением великодержавной политики Афин с политикой Спарты, отстаивавшей не только свои собственные интересы, но и интересы развитых в экономическом и торговом отношении государств Пелопоннесского союза. Естественно, возникает вопрос, какую позицию занимал в этом конфликте историк. Являлся ли он апологетом «афинского империализма» или, напротив, его симпатии были на стороне тех государств, которые ока-

---

<sup>39</sup> Greene D. Op. cit., p. 56 sqq.

зались насильственно включенными в орбиту афинской политики? Высказанное в прошлом мнение, что Фукидид был апологетом Афин и их политики, получило наибольшее распространение в послевоенные годы. При этом вносилось разграничение между политикой Перикла и политикой его преемников. Фукидид будто бы был адептом «умеренного империализма» Перикла и противником оголтелой империалистической политики Клеона. Такова, в частности, точка зрения французской исследовательницы Ж. Ромильи, автора книги «Фукидид и афинский империализм»<sup>40</sup>. Другая, менее многочисленная группа историков считает Фукидида врагом афинской демократии и созданной ею державы. Эту точку зрения поддерживают немецкий ученый Г. Штрасбургер<sup>41</sup> и советский историк А. К. Бергер, автор фундаментальной работы по истории политической мысли в Греции<sup>42</sup>.

Возможность существования противоположных точек зрения обуславливается тем, что Фукидид крайне редко высказывает свой взгляд на события и избегает морализирующих суждений. Важнейшие оценки политических систем и явлений содержатся в многочисленных речах. Они даются от имени тех персонажей, которым историк предоставляет слово. Поэтому прежде, чем решать вопрос о политических взглядах Фукидида, рассмотрим, что представляли собой его речи<sup>43</sup>.

Речи в произведении Фукидида — это не просто средство для драматизации изложения и придания рассказу большей живости. Используя форму, ставшую в греческой литературе традиционной со времени Гомера, Фукидид вкладывает в нее иное содержание. Речи для Фукидида — это способ отойти в тень и дать возможность читателю разобраться в происходящем, выслушать участников столь обычного для афинской жизни политического спора, их решения того или иного вопроса и его мотивировку. Мнение самого историка может и не совпадать ни с той, ни с другой стороной. На речах покоится в первую очередь то, что в древности понималось под объективностью историка.

<sup>40</sup> De Romilly J. *Thucydides et l'imperialisme athénien*. Paris, 1947.

<sup>41</sup> Strassburger H. *Thucydides und die Politische Selbstdarstellung der Athener*. — *Hermes*, LXXXVI, 1958, S. 17—40.

<sup>42</sup> Бергер А. К. *Политическая мысль древнегреческой демократии*. М., 1966.

<sup>43</sup> О речах у Фукидида см.: Jebbe R. *The Speeches of Thucydides*. Cambridge, 1907.

Это мнение о месте речей в труде Фукидида может быть обосновано как оценкой афинским историком их значения, так и анализом самих речей, составляющих 30 процентов всего текста. Сам Фукидид говорит следующее: «Что касается речей, произнесенных отдельными лицами или в пору приготовления к войне, или уже во время самой войны, то для меня трудно было запомнить сказанное в этих речах, со всей точностью, как то, что я слышал сам, так и то, что передавали мне с разных сторон другие. Речи составлены у меня так, как, по моему мнению, оратор, сообразуясь с ситуацией, мог говорить, причем я старался как можно ближе держаться общей тенденции действительно сказанных слов» (I, 22). Из объяснения Фукидида явствует, что ему принадлежит окончательная редакция речи и, возможно, ее аргументация с политических позиций того или иного оратора или соответствующей ситуации, но он старался все же приводить речи в том случае, если они действительно произносились, и держаться их общего смысла, если он его запомнил.

В качестве примера осуществления этого подхода можно привести речь главнокомандующего спартанцев Архидама перед воинами (II, 11). Фукидид должен был считаться с характером спартанцев, с их нелюбовью к длинным речам, с обстановкой 432 г. до н. э., когда Спарта приняла решение начать войну, и, прежде всего, с охватившим многие государства страхом перед возвышением Афин. Все это мы и находим в речи Архидама. Может быть, самому историку в ней принадлежит мысль о коренном различии строя Афин и Спарты и о том значении, какое оно будет иметь в ходе войны. Вкладывая эту мысль в уста спартанскому царю, Фукидид, очевидно, руководствовался объективностью в том ее понимании, которая характерна для него и для многих других античных историков, желанием избежать личных и субъективных суждений, скрыться за спиной оратора.

Пелопоннесская война для Фукидида — это не только столкновение двух политических систем, но и противоборство двух военных доктрин, порожденных данными системами. Наиболее ярко это раскрывается в знаменитой речи Перикла во время погребения павших воинов. Демократическое устройство наложило отпечаток на военную организацию, лишив ее присущей аристократической Спарте обстановки строгой секретности: «Мы не высылаем иностранцев, никому не препятствуем ни учиться у нас, ни осмат-

ривать наш город, так как нас нисколько не тревожит, что кто-либо из врагов, увидев что-либо не сокрытое, воспользуется им для себя. Мы полагаемся не столько на боевую подготовку и военные хитрости, сколько на присущую нам отвагу в открытых действиях» (II, 39, 1). Особый интерес представляет сравнение двух систем военной подготовки, спартанской и афинской, и двух способов ведения войны: «Противники наши еще с детства закаляются в мужестве посредством тяжелых упражнений, мы же ведем вольный образ жизни и однако с не меньшей отвагой идем на борьбу с равносильным противником... Никто из врагов не имеет перед собою всех наших сил вместе, потому что всегда в одно и то же время мы и заняты флотом и на суше высылаем наших граждан на многие предприятия. Когда в стычке с одной какой-либо частью наших сил враги одерживают победу, то кичатся, что отразили всех нас. Если же потерпят поражение, то говорят, что уступили нашим совокупным силам. Так как мы охотно отваживаемся на опасности больше вследствие нашей природной подвижности, а не из привычки к тяжелым упражнениям, по храбрости природной, а не предписываемой законами, то преимущество наше состоит в том, что мы не утомляем себя преждевременными всевозможными лишениями, а когда подвергаемся им, то оказываемся мужественными не меньше противников наших, всю жизнь проводящих в тяжелых упражнениях» (II, 39, 1—4).

Из этой речи нельзя сделать заключение, что Фукидид был сторонником афинской системы военной подготовки и противником спартанской. Речь характеризует мнение на этот счет Перикла, а он не мог быть иного мнения, поскольку был вождем афинской демократии. Но в данном случае Фукидид устами Перикла оценил различие двух военных систем.

Обилие речей и их характер позволяет рассматривать Фукидида как выученика софистов. Согласно правилам софистической риторики речи должны были произноситься за обе стороны, за хорошее и за плохое. В этом Фукидид показал себя мастером. Аргументация является убедительной даже в тех случаях, когда историк явно не сочувствует говорящему.

В тех немногих случаях, когда Фукидид говорит от своего имени, речь идет о Перикле, его ответственности за начало войны, о его завоевательной политике. Ключом к пониманию взглядов Фукидида является следующее место:

«Пока Перикл стоял во главе государства, — пишет Фукидид, — он руководил им с умеренностью и охранял его безопасность. Государство достигло при Перикле наивысшего могущества, а когда началась война, он и в это время, очевидно, предусмотрел всю ее важность, и когда умер, прелвидение его в отношении войны обнаружилось еще в большей степени» (II, 65, 5).

Фукидид противопоставляет Перикла его преемникам как стратега, а не политика. Он подчеркивает, что они не сумели осуществить его разумный план ведения войны и поэтому несут ответственность за все неудачи, однако он не выделяет какой-то особый тип Перикловой демократии. И в этой оценке преобладает чисто военная, а не политическая сторона. Афины обязаны своему поражению не демократии, а тем, что во главе этой демократии стояли люди, не обладавшие умеренностью и предусмотрительностью. Что же касается политики, благодаря которой Афины достигли наивысшего могущества, то Фукидид ее не осуждает, хотя и видит в усилении Афин причину войны.

Как ученый Фукидид не мог не обратить внимания на важность хронологии. Он упрекает Гелланика за допущение им неточности в определении времени событий (I, 97, 2), и это единственная ссылка на имя историка-предшественника. Более того, Фукидид считает, что точнее фиксировать события по периодам солнечного календаря, а не по принятой в его время хронологической системе, когда события датировались по правлению какого-либо должностного лица-эпонима. В своем труде Фукидид указывает, когда происходило то или иное событие — летом или зимой. Иногда он прибегает к большей детализации — «в конце зимы», «в середине лета», «в разгар лета», «в пору созревания хлебов», «когда хлеб еще зелен», «незадолго перед уборкой урожая». События, происходившие зимой, не могли быть датированы с той же точностью, что летние, из-за невозможности их синхронной связи с растительностью. В этом случае Фукидид прибегал к датировке по астральным явлениям, по восходу Арктура (II, 78, 2). Для уточнения тех или иных дат Фукидид брал за опорные пункты такие точно установленные религиозной традицией даты, как празднества — Дионисии, Панафиней, Олимпии, Гиакинфии, Карней. Так, он пишет: «В самом начале следующей зимней кампании отпраздновавши Карней, лакедемоняне выступили в поход» (V, 76, 1). Датировка по праздникам не была изобретением Фукидида. Она была

принята в официальных документах, договорах, которые Фукидид цитирует в своем труде (V, 23, 4; V, 47, 10). Заслуживает внимания то, что он применил этот способ датировки для событий военной истории. Наконец, Фукидид использует для датировки годы самой Пелопоннесской войны, считая ее начало точкой отсчета, эрой. Для датировки наиболее важных событий Фукидид использует все доступные ему способы отсчета времени: «Этот договор состоялся в конце зимней кампании к началу весны, тотчас после городских Дионисий, по прошествии полных десяти лет и нескольких дней со времени первого вторжения и начала этой войны» (V, 20, 1).

После этого полного определения времени Никиева мира Фукидид делает краткое отступление о принципах своего подхода к хронологии: «Вернее исследовать события по периодам времени, не отдавая предпочтения перечислению имен лиц должностных или иных, облеченных теми или иными почетными должностями в каждом государстве, по которым обозначаются прошлые события. Такое исчисление неточно, так как то или иное событие имело место в начале, в середине или в какой-нибудь другой срок службы такого лица. Напротив, ведя счет по летним и зимним кампаниям, как это сделано у меня, и считая каждую из этих кампаний за половину года, можно установить десять летних и столько же зимних кампаний в этой первой войне» (V, 20, 2—3).

Проблема хронологической системы Фукидида вызвала большую дискуссию, поскольку она является критерием в оценке Фукидида как историка. Был выдвинут вопрос, насколько она оригинальна и не было ли у Фукидида предшественника<sup>44</sup>. Другой вопрос, вызвавший наибольшие споры, можно ли назвать эту систему научной. Историки Притчет и Ван дер Вэрдэн отказываются видеть в Фукидиде ученого-историка, поскольку его датировка не является научной и основывается на таком постоянно изменяющемся элементе, как растительность<sup>45</sup>. В противовес этому Меритт высказал вполне резонное мнение, что у нас нет оснований считать, что Фукидид исходил из состояния растительности

---

<sup>44</sup> Pritchett W. K. and Van der Waerden B. L. Thucydidean Time-Reckoning and Euctemon's Calendar. *Bull. Cor. Hell.*, 1961, LXXXV, p. 17—52. Они полагают, что Фукидид развивает принципы сезонного календаря Эвктемона.

<sup>45</sup> Pritchett W. K. and Van der Waerden B. L. *Op. cit.*

как твердой даты и не считался с теми изменениями, которые происходили в тот год, события которого он описывал<sup>46</sup>.

Качества историка как исследователя отдаленного прошлого и современной ему эпохи выявляются прежде всего в его отношении к источникам своей информации. И именно этот критерий выделяет Фукидида не только на фоне его предшественников, но и ставит на одно из первых мест в античной историографии вообще<sup>47</sup>. Для Фукидида характерно сознательное отношение к тому материалу, на котором он строит свои суждения. В первом своем экскурсе в прошлое Эллады он использует эпос, в частности «Илиаду», не для извлечения тех или иных фактов Троянской войны, так как отдает себе отчет в том, что имеет дело с художественной фантазией, а для восстановления общих социальных и экономических условий отдаленной эпохи, поскольку даже в произведении такого рода эти условия должны были найти какое-то отражение. В то же время Фукидид делает некоторые заключения из самого языка «Илиады». То, что у Гомера не встречается обозначения «эллинов», как общего названия племен, возглавляемых Агамемноном, используется им как свидетельство того, что эллины еще не обособились под этим названием (I, 3, 3). В равной степени из отсутствия слова «варвары» делается вывод об отсутствии противопоставления предков эллинов другим народам.

Не ограничиваясь разбором мифологической и исторической традиции, Фукидид обращается к поискам других свидетельств о давно прошедших временах и отыскивает их в материальных остатках отшумевшей жизни, т. е. в том, что мы теперь называем археологическими источниками. Характер захоронения и оружия в могилах на Делосе позволяет ему прийти к выводу, что по крайней мере половину населения острова составляли карийцы (I, 8, 1). Не менее интересным, чем сам факт привлечения археологических источников, является понимание Фукидидом ограниченности этих источников при отсутствии письменных свидетельств: «Предположим, что город лакедемонян был

---

<sup>46</sup> Meritt B. D. The Seasons in Thucydides.—*Historia*, 1962, XI, p. 436—446.

<sup>47</sup> Kirchhof A. *Thukydides und sein Urkundenmaterial*. Berlin, 1895; Berve H. *Thukydides*. Frankfurt/M., 1938; Бузескул В. П. Исторические этюды. СПб., 1911, с. 31.

разорен и от него уцелели бы только фундаменты строений, при таких условиях, полагаю, у наших потомков, по прошествию долгого времени, возникло бы сильное сомнение, что могущество (*dynamis*) лакедемонян соответствовало их славе. Напротив, если бы той же участи, что Спарта, подверглись Афины, то по наружному виду города, могущество их могло бы показаться вдвое большим сравнительно с действительностью» (I, 10, 2).

Источником по древнейшей истории Фукидиду служит также топография. Из того факта, что древнейшие города находились не у самого моря, а на некотором расстоянии от него, делается вывод о широком развитии в старину пиратства. Фукидид использует и метод обратного заключения, т. е. на основании жизни современных отсталых племен Греции делает вывод об образе жизни их предков в отдаленную эпоху.

В изложении современной ему истории Фукидид частично опирается на документальный материал. В ходе изложения он приводит следующие документы: 1) Соглашение о перемирии Афин со Спартой в 423 г. до н. э. (IV, 118—119); 2) Текст пятидесятилетнего мира между Афинами и Спартой в 421 г. (V, 18—19); 3) Текст союза между Афинами и Спартой (V, 23—24); 4) Текст мирного договора на сто лет между афинянами, аргивянами, мантинеянами и элеянами (V, 47) и еще три документа.

Один из этих документов сохранился в надписи. Сравнение текстов показывает, что во всем существенном Фукидид передает договор точно. Нам неизвестно, пользовался ли он другими документами. Очевидно, пребывание в изгнании затрудняло использование документального материала. Главным источником Фукидиду, как он заявляет об этом сам (I, 1), служили собственные наблюдения. Речь идет не только о знакомстве с военной и дипломатической подготовкой враждующих сторон, но и о его непосредственном участии в событиях первого периода войны. Так, нам известно, что Фукидид находился в Афинах в период разгоревшейся эпидемии (II, 48). Его наблюдения и переживания легли в основу описаний, составляющих содержание 49—54 глав второй книги. Как непосредственный участник событий Фукидид описал заключительный эпизод Архидамовой войны, поход Брасида во Фракию (IV, 102—116).

Высоко оценивая метод изучения Фукидидом источников, не следует преувеличивать заслуг Фукидида и рассматривать его вслед за Эд. Мейером «несравненным и не-

достижимым учителем историографии»<sup>48</sup>. Наши знания о древнейшем прошлом Греции, полученные на основании археологических данных и дешифровки линейной В письменности, действуют несколько расхолаживающе на подобные панегирические представления. Оказался опровергнутым тезис, с которого Фукидид начинает повествование, о прочном заселении Эллады с недавних пор (I, 2, 1), равно как и другое положение, что «Аттика с самых давних времен не испытывала внутренних переворотов и всегда была занята одним и тем же населением» (I, 2, 5). Археология показала, что Эллада была заселена с древнейших времен, и что население жило оседло, по крайней мере с IV тысячелетия до н. э. Что касается занятия Аттики одним и тем же населением, то этому утверждению противоречат сведения других авторов о ее первоначальном заселении пеласгами и изгнании последних предками эллинов. Ошибки Фукидида объясняются тем, что он недостаточно бережно отнесся к мифологической традиции.

Оправданием Фукидида в данном случае служит то, что изучение древнейшей Греции не было его специальной задачей. Он обращается к ней для того, чтобы доказать, что «Пелопоннесская война была самой важной и самой достопримечательной из всех предшествовавших» (I, 1, 2). Помимо этого древние войны служат ему своего рода моделью для оценки войны вообще.

Ясное понимание причин и поводов войны, стремление представить ее события в закономерной исторической связи сказались на характеристике Фукидидом стратегических планов воюющих сторон. Впервые в историческом труде возникает понятие стратегии как замысла, рассчитанного на длительное время и учитывающего не только военные силы, но и ряд иных факторов экономического, политического и морального порядка. Всеми этими особенностями в проникновенном описании Фукидида характеризуется стратегический план Перикла. Исходя из того, что Афины были морской державой с постоянным источником доходов от торговли и взносов союзников, Перикл рассчитывал, что Спарта, слабое в экономическом отношении государство, не выдержит длительной войны. Эту войну афинский стратег мыслил как морскую, лишая тем самым спартанцев их главного преимущества — прекрасной военной подготовки в области сухопутных сражений. Следовало учитывать и воз-

---

<sup>48</sup> Meyer E d. Op. cit., S. 121.

возможность перестройки спартанцев и превращения их из иехотинцев в моряков. Перикл отвергал ее, поскольку «морское дело, как и всякое другое, есть искусство, и бесполезно заниматься им случайно, как кое-чем побочным, даже более, при нем нет места ничему постороннему» (I, 142, 9).

Следовало также считаться с возможностью ограбления спартанцами общегреческих святилищ с целью использования их богатства для привлечения в свой флот моряков-наемников. Это, с точки зрения Перикла, не принесло бы спартамцам успеха, поскольку команды, составленные из иностранцев, по имеющемуся опыту, всегда уступают командам из числа граждан, особенно, если эти граждане возглавляются такими опытными в морском деле командирами, как афиняне (I, 143).

Учитывая все эти обстоятельства, Перикл предлагал своим согражданам не испытывать судьбы в сухопутных битвах, а покинуть поля и переселиться под защиту городских стен, откуда совершать нападения с моря и получать доходы от союзников, — ибо «могущество афинян зиждется в приливе денег, а в войне побеждают рассудительность и обилие денег» (II, 13, 2).

План ведения войны, предложенный спартанским царем Архидамом, исходил как из преимущества спартанской пехоты, так и из непрочности политического положения Афин, властолюбие которых вызывало ненависть других эллинов. Архидам учитывал и психологический фактор: афинянам будет трудно удержаться от сухопутного сражения, видя, как на их глазах разоряется их земля (II, 11, 8).

Восстанавливая последовательность, ход и результаты военных действий, Фукидид в тех случаях, когда он был их участником, опирался на собственные наблюдения, в других же — на сообщения очевидцев. Историк был в числе тех афинян, которые в 421 г. до н. э. нашли убежище за стенами города и в бессильной ярости наблюдали, как воины спартанского царя Архидама опустошают поля и вырубают сады Аттики. Он перенес вспыхнувшую в Афинах болезнь (II, 48, 3). Назначенный командиром эскадры, охранявшей побережье Фракии, он не смог помешать захвату спартамцами Амфиполя и за это был приговорен соотечественниками к изгнанию. О последующем времени он сообщает: «Я стоял близко к делам той и другой воюющей стороны, но вследствие моего изгнания преимущественно к делам пелопоннесцев, и на досуге имел больше

возможностей разузнать те или иные события» (V, 26, 5). Добросовестность Фукидида как историка Пелопоннесской войны выявилась в том, как он относился к сведениям о событиях, участником которых он не являлся. Для него характерен критический подход к свидетельствам очевидцев: «Очевидцы отдельных фактов передавали об одном и том же событии неодинаково, но так, как каждый мог передавать, руководствуясь симпатией к той или другой из воюющих сторон или основываясь на своей памяти» (I, 22, 3). Пытаясь восстановить истинный ход событий, Фукидид учитывает возможность получения о нем правильной информации. Так, он различает сражения, происходившие днем и ночью. И в дневное время информация участника сражения является ограниченной, поскольку в его поле зрения находится лишь один участок боя. Что же касается ночных сражений, то здесь вообще трудно узнать что-либо достоверное (VII, 44, 1).

Тщательность Фукидида выявляется и в его сведениях о численности армий. Именно в этих вопросах античные историки проявляли наибольшую беззаботность и произвольность. В их трудах фигурируют «круглые цифры», не отражающие истинной численности войск. Так, Геродот сообщает, что Ксеркс повел на Грецию войско численностью в 1 700 000 человек (VII, 60). По подсчетам современных военных историков, войско Ксеркса не превышало двухсот тысяч человек. Цифры потерь также оказываются преувеличенными или преуменьшенными в зависимости от симпатий или антипатий историка. Критического отношения к реляциям победителей в античной историографии не наблюдается. На этом фоне Фукидид является исключением: Он приводит те цифры, которые не вызывают сомнений или которые он мог установить сам, основываясь на количестве воинских подразделений, участвовавших в сражении. Его подход лучше всего характеризует следующее замечание: «Числа убитых я не сообщаю потому, что количество погибших, о каком-то говорят, невероятно по сравнению с величиною города» (III, 113, 6).

Значительное место в своем труде Фукидид отвел описанию сухопутных сражений. Диспозиция дается с точки зрения профессионального военного: расположение воинских подразделений на фланге и в центре с указанием глубины эшелонирования, вооружения воинов, интервалов между ними, расположения конницы и обоза. Описание самого хода сражения дается последовательно, поэтапно с

учетом изменений, происшедших в расположении войск и их боевом духе. В поле зрения Фукидида и материальное обеспечение армий. Он регистрирует в своем труде все те факты, которые касаются снабжения войск продовольствием, качества и количества вооружения.

Особое внимание Фукидид уделяет осадным операциям. В его труде содержится описание осады девятнадцати городов и военных лагерей, трех из них — подробное (1. Платея; 2. Пилос и Сфактерия; 3. Сиракузы). Из этих описаний мы узнаем о приемах, употребляемых греками в осадных операциях: 1. Окружение вражеского города или лагеря одной или несколькими стенами. 2. Штурм городских стен с помощью осадных лестниц. 3. Использование военных машин для взламывания стен. 4. Подкоп под стены. Поскольку выбор того или иного плана осадной операции зависит от множества факторов, среди которых важнейшими являются характер фортификационных сооружений и наличие у осаждающей стороны соответствующих средств и машин, Фукидид характеризует все существенные детали — общие размеры стен, их материал, конфигурацию, рельеф местности, наличие леса и воды, характер грунта. Во всех этих подробностях Фукидид выступает перед нами как солдат и полководец, из личного опыта знающий, что каждая мелочь может оказаться решающей для исхода военной операции.

Крупные морские сражения происходили и до Пелопоннесской войны — например, битвы при Артемисии и Саламине 480 г. до н. э. Но в описании Геродота их технические детали тонут во всякого рода живописных подробностях, рассказах об оракулах и подвигах отдельных моряков. Только благодаря Фукидиду мы получаем представления о флотах враждующих сторон, о подготовке моряков и тактике морского боя. К началу Пелопоннесской войны морской флот Афин насчитывал 300 трирем, находившихся на плаву, и еще какое-то количество кораблей в доках (II, 13, 8). К концу первого периода войны у афинян было 250 кораблей (III, 17, 2). Против Сиракуз в 415 г. до н. э. Афины и их союзники послали 134 триеры, два пятидесятисельных судна, 30 грузовых кораблей, 100 барж.

Историк регистрирует не только число кораблей и их типы, но и технические усовершенствования. Так, он сообщает, что сиракузские переоборудовали свои корабли, «укоротили и тем сделали крепче корабельные носы, а также положили на них более толстые брусья, от которых к

стенкам корабля изнутри и снаружи протянули подпорки длиной локтей в шесть каждая» (VII, 36, 2). В описании хода морской битвы Фукидид учитывает также маневренность кораблей, силу и направление ветра, характер акватории (близость берега, размеры залива, узость пролива; наличие подводных камней), опытность навархов (адмиралов) и морских команд и многие другие детали. Ни одно из описанных Фукидидом морских сражений не похоже на другое и каждое из них не только давало представление о характере боя и его результатах, но и могло изучаться с целью использования военного опыта.

Для изучения военного искусства древности современный исследователь или просто читатель, интересующийся военной историей, не может обойтись без труда Фукидида так же, как и без «Записок о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря. На первый взгляд сопоставление Фукидида с Цезарем может показаться неправомерным. Цезарь был великим полководцем древности, а Фукидид как военачальник известен лишь одним, да и то проигранным сражением. Но потерпев поражение как военачальник, Фукидид одержал победу как историк военного дела, и эта победа поставила его в один ряд с самыми крупными знатоками военного искусства древнего мира. И более того, Фукидид был первым известным нам исследователем войны рабовладельческого общества, в условиях которого он жил. Он был первым мыслителем древности, понявшим зависимость войн от экономики, первым, кто поставил вопрос об их причинах.

\*            \*  
\*

Мы слишком мало знаем о жизни античных историков, даже самых крупных, чтобы можно было дать обстоятельную сравнительную характеристику их жизненных судеб. Но любое сопоставление окажется бессодержательным, если оно не будет опираться на некоторые биографические вехи.

Геродот и Фукидид были почти современниками. По свидетельству одного автора, в начале Пелопоннесской войны, т. е. в 431 г. до н. э. Геродоту было пятьдесят три года, а Фукидиду — сорок лет. И если даже вслед за большинством современных исследователей считать, что разница в их возрасте была большей, все равно ясно — в новую эру греческой истории Геродот вступал человеком, за плечами

которого была жизнь, полная лишений и странствий, Фукидид же в расцвете жизненных сил.

Задачей сопоставления является не только констатация различий или сходства, но и их объяснение. Для понимания разительного отличия в мировоззрении и способе мышления и письма наряду с различием судеб и темпераментов историков, необходимо иметь в виду, что двадцать лет, отделяющие Фукидида от Геродота, были временем распространения софистической учености. Фукидид, в отличие от Геродота, был выучеником софистов, в то время как Геродот во многом еще оставался на позициях ионийской образованности. В пользу этого истолкования различий между историками говорят сведения биографов о том, что Фукидид обучался у Анаксагора, знаменитого философа, осужденного по обвинению в безбожии (Maguel, 22), и совпадение взглядов историка на роль провидения со взглядами софистов. Наше исследование показало также, что Геродот во многом оставался на позициях ионийской науки (см. выше с. 49). Но в то же время нельзя поставить знак равенства между Геродотом и ионийцами, что явствует из полемических выпадов Геродота против Гекатея и «ионийцев». Геродот был консервативнее не только младшего современника Фукидида, но и предшественника в области историографии Гекатея, ближе его к религиозному мировоззрению.

В объяснении этого явления, на наш взгляд, следует исходить прежде всего из тех перемен, которые принес в ионийский мир разгром Милета в 492 г. до н. э. Последующая победа греков над персами и отмщение за кровь милетян не возродили ни бывшего экономического могущества ионийских городов, ни их культурной роли в греческом мире. Отсюда усиление фатализма во взглядах Геродота. Фатализм выразился не только в новеллах о судьбах Креза, Поликрата, персидских царей, но и в объяснении Геродотом истоков конфликта между Грецией и Востоком.

Вопрос об объективности историка и ее критериях еще не стоит у Геродота. Для него, как и для Антиоха Сиракузского, объективность — это правильность выбора из множества версий. Оказывая предпочтение одной из них, Геродот не обосновывает выбора логическими доводами.

Впервые объективные критерии истинности формулируются Фукидидом. Историк объясняет, что он считал своим долгом не просто фиксировать то, что узнавал от первого встречного, или то, что мог предполагать, но записывал события, очевидцем которых был сам, и то, что слышал от

других, после точных, насколько возможно исследований относительно каждого факта, в отдельности взятого (I, 22, 2). Важность собственного наблюдения историка понималась и Геродотом, постоянно подчеркивавшим, что он видел своими глазами, а что записал по рассказам. Но Геродот не знает проверки каждого факта в отдельности как неперемennого элемента установления истины. Отсюда многочисленные неточности и грубые ошибки в его труде.

Различны Фукидид и Геродот в обосновании историографического метода. Геродот, подобно Гомеру и трагикам, старается нарисовать картину, не заботясь о том, чтобы дать читателю представление о средствах, с помощью которых она создавалась. Раскрытие секретов писательского мастерства менее всего подходило к произведениям, действующим на чувства. Фукидид, напротив, охотно говорит о своем методе и раскрывает его в сопоставлении с поэтами и прозаиками (логографами).

Ипполит Тэн, выделяя в своей блестяще написанной галерее образов древних историков Фукидида как представителя «чистой науки», приписывает ему бесстрашие и бездушие: «Ничего не может быть ужаснее этого хладнокровия историка, совершенно естественного: он проходит мимо убийств, восстаний, моровой язвы, как человек, отрешенный от всего человеческого, который устремив взоры на истину, не может снизойти до гнева или жалости. Смерть, жизнь, прекрасные и дурные поступки, — все это безразлично для науки, все это в его глазах не более как факты и причины»<sup>49</sup>. Действительно, Фукидид, в отличие от историков риторического направления, не нагнетает ужасов, но он в своем описании войны по крайней мере замечает человеческие страдания. Уже во введении он указывает, что по количеству страданий Пелопоннесская война превосходила все предшествующие войны, и в ходе изложения не упускает из поля своего зрения человеческие беды. Достаточно вспомнить его описание чумы (II, 47—54) или эпизод с убийством школьников наемниками (VII, 29 и сл.). Геродот в своей оценке такого же убийства рассматривает его лишь как указание воли богов (VI, 27). Если говорить о бесстрашии историка, то оно более свойственно Геродоту, чем Фукидиду. Труд Геродота наполнен жестокостями — описанием выкалывания или выжигания глаз, вырезания языка и прочими, причем они не вызывают у исто-

---

<sup>49</sup> Тэн И. Тит Ливий. М., 1900, с. 375.

рика возмущения или негодования. И дело здесь не в мягкости или в жестокости характера и не в моральном разложении класса ионийских торговцев, к которому будто бы принадлежал Геродот<sup>50</sup>, и даже не в эпическом стиле Геродота<sup>51</sup>, исключавшем возмущение жестокостью, а в большем внимании к человеку во времена Фукидида, чем Геродота. Геродот стоит на уровне понимания мира Эсхила, и Софоклом, Фукидид — Эврипидом. Геродот более обращен мыслями к богам, Фукидид к людям. Исторический труд Фукидида, как справедливо отмечает Г. Штрассбургер, свидетельствует о процессе гуманизации исторической мысли<sup>52</sup>.

Личность в мире Фукидида играет неизмеримо большую роль, чем в мире Геродота. Персонажи Геродота Крез, Солон, Кир, Камбис — это не живые люди, а марионетки в руках божества, выполняющие его волю. Если они ей противятся, их постигает наказание. Наказание может их постигнуть и безо всякой личной вины, за неведомое им самим преступление предков. Персонажи Фукидида Перикл, Гермократ, Алкивиад более свободны в своем выборе, в своей деятельности. Они действуют, сообразуясь с собственной выгодой или интересами государства, как они их понимают, без оглядки на богов. По ночам их не мучают кошмары, и они не терзаются, стремясь понять, что указывает божество тем или иным сном. То, что они рационалисты, отнюдь не заслуга Фукидида, освободившего их от власти божества. Они были рационалистами на самом деле, и заслуга Фукидида лишь в том, что он их показал такими, какими они были. Но ведь и к Геродоту нельзя предъявить претензии, что он показал своих героев богобоязненными, если им были действительно присущи вера в богов и страх перед ними.

Здесь мы подошли к главному в сравнительной характеристике историков, к критерию их оценок. Должны ли мы отдавать предпочтение тому из древних историков, который видит мир таким или почти таким, как его видим мы, перед историком, который по своему мировоззрению совершенно нам чужд и оценивает мир с позиций религи-

---

<sup>50</sup> Howald E. Ionische Geschichtsschreibung.— Hermes, 1923, 58, S. 116, sqq.

<sup>51</sup> Aly W. Volksmarchen, Sage und Novelle bei Herodot und seinen Zeitgenossen. Göttingen, 1921; Лурье С. Я. Очерки по истории античной науки. М.—Л., 1947, с. 110.

<sup>52</sup> Strassburger H. Wesensbestimmung der Geschichte, S. 71.

озной идеологии. Да, должны, поскольку мы рассматриваем влияние этого историка на формирование исторической мысли. И не должны, если мы оцениваем историков с точки зрения того, как в их трудах отражается реальная действительность. Геродот не мог смотреть на мир глазами Фукидида, а Фукидид глазами Геродота. Вот этой элементарной истины не понимали как древние, так и зачастую современные критики, требуя от историка, чтобы он оценивал мир в целом и его отдельные стороны так, как он представляется им. Как автор, создавший картину своей эпохи, Геродот не уступает Фукидиду. Но с точки зрения научного понимания исторического процесса он стоит далеко позади.

В оценках Геродота и Фукидида последующими поколениями образованных людей античного мира наблюдаются те же резкие контрасты, которые присущи произведениям этих историков. Геродот становится мишенью яростных, не прекращающихся на протяжении всей античности нападков. Резюмируя отношение к Геродоту, Иосиф Флавий писал: «Все стараются уличить Геродота во лжи» (с. App., I, 3). Первый из критиков Геродота Фукидид не называет своего предшественника по имени, но явно имеет его в виду, когда пренебрежительно отзывается о «логографах», как рассказчиках ничем не подтвержденных басен. Объектом критики Ктесия становится персидский логос Геродота. Ссылаясь на свое многолетнее пребывание во дворце персидского царя и знакомство с царским архивом, Ктесий указывает на ряд неточностей и ошибок в тексте труда Геродота (FHG I, Ktes., fr. 34). Для Аристотеля Геродот — *mithologos* — сказочник (*de gen. anim.* 3 p. 75, b 5). Великий философ ссылается на «Историю греко-персидских войн» для подтверждения своего тезиса о превосходстве поэзии над историографией (*Poet.*, 9). Диодор обвиняет Геродота в измышлении чудесных историй и в пренебрежении истиной (I, 69, 7). Страбон упрекает его в смешении историографического и мифологического жанров и отдает предпочтение Феопомпу за то, что тот, в отличие от Геродота, не выдает миф за историю и сознается в том, что намерен рассказывать в своей истории мифы (I, 1, 35). Лукиан относит Геродота и Ктесия к сочинителям побасенок — *mithidia* (*Philops.*, 2).

Косвенным свидетельством того, что сразу после обнаружения «История Пелопоннесской войны» вошла в число классических произведений, является появление трех

ее продолжений, написанных тремя авторами. Ксенофонт, Феопомп и Кратипп как бы соревновались друг с другом за лавры первого историка, каким считался Фукидид. Однако попытки отыскать в обширной философской и публицистической литературе IV в. до н. э. следы влияния Фукидида и его идей оказались безрезультатными. Нам трудно себе представить, что Платон, Исократ, Аристотель не читали Фукидида. Но тем не менее, мы не находим в обширных корпусах этих авторов ни одной ссылки на великого историка. Подражателем Фукидида, во всяком случае, стилия его исторического труда, в древности считался Филлист из Сиракуз (III в. до н. э.). Станным образом, мы не находим ни одной ссылки на Фукидида у Полибия, которого можно считать последователем афинского историка с точки зрения понимания целей историографии и отношения к источникам. В сохранившихся частях труда Посидония также отсутствуют ссылки на Фукидида.

Положение резко изменяется в I в. до н. э., когда греческие и римские авторы часто и много говорят о Фукидиде, однако рассматривают его не как историка, а как оратора. Подход Цицерона к Фукидиду отличается утилитарностью и узостью: «Фукидид рассказывает о событиях, войнах и сражениях, правда, с достоинством и искусством, но у него ничего нельзя позаимствовать для судебного и политического красноречия. Даже знаменитые речи его заключают в себе так много темных, туманных мыслей, что их едва можно понять, а это — в политической речи порок особенно большой»<sup>53</sup>. Римский оратор в этой своей оценке обнаруживает непонимание задач историографии вообще и труда Фукидида в частности. Фукидид ведь не писал свое произведение в расчете на то, что кто-нибудь воспользуется его художественной формой. Напротив, он указывал, что стремится не к художественности изложения, а к установлению истины. Он осуждал тех авторов, которые в ущерб правде стремились привлечь читателей занимательностью или красочностью рассказа.

Античная литературная критика и, прежде всего, Дионисий Галикарнасский, в систематическом изучении «Истории Пелопоннесской войны» интересовалась Фукидидом как стилистом и художником, а не историком<sup>54</sup>. Дионисий

<sup>53</sup> Cic. *Orat.*, 9, 30.

<sup>54</sup> Анализ критических высказываний Дионисия о Фукидиде см.: Smith S. B. *HSPH*, 1940, 51, p. 267 sqq.

считает, что изложение Фукидидом событий войны по летам и зимам нарушает связность изложения (!!!) и упрекает историка в том, что он сначала дал изложение ложных причин войны, а затем истинных — а не наоборот, хотя главное было в том, что Фукидид впервые рассмотрел войну как явление исторически обусловленное, а не случайное.

Можно сказать, что оба историка не были поняты в античности, хотя причина и степень их непонимания были различны. Отсюда относительность того распределения между историками лавров, которое было сделано в древности и без должной критики воспринято в новое время.

# ПЛАТОН И МИФ. АРИСТОТЕЛЬ И ИСТОРИЯ

Вопрос об отношении к мифу был кардинальным уже на заре греческой историографии, возникшей в резкой оппозиции мифологическому мышлению. На новом историческом этапе происходит регенерация мифа, связанная с именем Платона. В борьбе с платоновской мифологией, распространявшейся на широкую сферу государственной жизни, крепнет мировоззрение Аристотеля, представляющее вершину классического историзма и основу развития историографии последующей эллинистической эпохи.

Настоящая глава не ставит своей целью проанализировать весь корпус Платона<sup>1</sup>. Для выяснения отношения к мифу нами выбраны лишь два диалога «Тимей» и «Критий», дающие изложение предания об Атлантиде. Выбор этот во многом обусловлен стремлением противостоять распространению псевдонаучных теорий, авторы которых, не понимая специфики платоновского мифа, готовы рассматривать его как исторический источник или находить в нем некое историческое зерно. Выяснение природы «научного мифа» призвано показать ирреальность атлантической Атлантиды и выработать у читателя иммунитет к той повальной болезни, имя которой атлантомания.

Вторая часть главы посвящена оценке вклада Аристотеля в историографию. Рассматривая Аристотеля как историка, мы старались охватить не только его немногочисленные исторические (в узком смысле этого слова) труды, но и выяснить, как естественнонаучный подход сказался на

---

<sup>1</sup> Об отношении Платона к мифологии и месте мифа в его философской системе см.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1969, с. 151 и сл., 557 и сл., 6664 и сл. Библиография: с. 707 и сл.



Миф об Атлантиде не возникает в произведениях последнего периода жизни Платона как нечто изолированное. Он занимает предназначенное для него место в группе из трех диалогов: «Государство», «Тимей» и «Критий» и может быть понят в связи с главной идеей этих произведений.

Набрасывая и обосновывая план идеального государства, построенного по принципам целесообразности и справедливости, философ касается проблемы воспитания гражданина полка:

«— Разве можем мы так легко допустить, чтобы дети слушали и воспринимали душой какие попало мифы, выдуманные кем попало и большей частью противоречащие тем мнениям, которые, как мы считаем, должны быть у них, когда они повзрослеют?

— Мы этого ни в коем случае не допустим.

— Прежде всего нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов: если их произведение хорошо, мы допустим его, если же нет, — отвергнем. Мы уговорим воспитательниц и матерей рассказывать детям лишь общепризнанные мифы. А большинство мифов, которые они теперь рассказывают, надо отбросить» (Rep., 377 b-c).

В дальнейшей беседе выясняется, что не устраивает Платона в старых мифах с воспитательной точки зрения: их противоречие научным представлениям о мире, искаженное представление о богах и о природе. Старые мифы, по мнению Платона, вредны тем, что они развращают людей, давая им примеры дурного поведения. Но Платон, как это видно из приведенного отрывка, не исключал мифологии из воспитания идеального гражданина. Он рекомендовал произвести отбор достойных мифов и изъять из обращения недостойные, хотя бы авторами последних были такие великие поэты, как Гомер и Гесиод.

Платон также ставит вопрос о создании новых мифов, столь же прекрасных по форме как старые, но способствующих воспитанию идеального гражданина (Rep., 378 e). Он возлагает на поэтов обязанность мифотворчества и сам дает его образцы. Миф об Атлантиде и является таким

мифом, который соответствует авторской установке воспитания идеального гражданина. В отличие от других мифов, созданных Платоном, он развернут в широкое псевдоисторическое и псевдогеографическое полотно.

Анализ мифа следует начать с опровержения широко распространенного мнения, будто понятие «Атлантида» впервые появляется в трудах Платона<sup>2</sup>. На самом деле среди произведений Гелланика имелся труд «Атлантида» в двух книгах<sup>3</sup>. Он утрачен, как и все другие труды этого плодовитого автора. Сохранилось лишь шесть фрагментов. на основании которых можно восстановить общую канву его сюжета. Некоторые исследователи, основываясь на сходстве одного из фрагментов «Атлантиды» с фрагментом «Троянской истории» Гелланика, пришли к выводу, что «Атлантида» — часть «Троянской истории» этого же автора<sup>4</sup>. Капитальное исследование Ф. Якоби показало, что «Атлантида» — особый труд Гелланика, но историческое содержание его Якоби не выяснял<sup>5</sup>.

Предварительное указание на содержание «Атлантиды» мы получаем из перечня всех произведений Гелланика: «Беотика», «Фессалика», «Арголика», «Об Аркадии», «Аттида», «Эолика», «Тройка», «Лесбика», «Египтиака», «Финикиака», «Персика», «Скифика», «Киприака», «Форонида», «Девкалиония». В этом списке нет труда по истории знаменитого острова Крита, с которым было связано столько легенд. Вряд ли в своем систематическом освещении генеалогии и истории всех областей древней Эгеиды и связанных с ней восточных стран Гелланик мог бы опустить Крит. Таким образом, косвенным путем мы приходим к мысли, что «Атлантида» Гелланика имеет отношение к Криту.

Каждый из названных выше трудов Гелланика начинался изложением мифов о происхождении народа, историю которого намеревался представить автор. Так, «Персика», доведенная до греко-персидских войн, начиналась с рассказа о происхождении родоначальников персов и ми-

<sup>2</sup> См., например: Резанов А. И. Атлантида: фантазия и реальность. М., 1975, с. 4.

<sup>3</sup> В ссылах знакомых с ним древних авторов он называется и «Атлантида», и «Атлантиада», но первый вариант названия труда предпочтительнее.

<sup>4</sup> Müller K. *Fragmenta historicorum graecorum*. P., 1874, v. 1, p. XXVI; Pearson L. *Early Ionian Historians*. Oxford, 1939, p. 179—180.

<sup>5</sup> Jacoby F. *RE*, s. v. *Hellanicos*, 1912, VIII, coll. 110.

дьян — Перса и Меда. Сохранившиеся фрагменты «Атлантиды» в отличие от этого относятся только к генеалогии атлантов, но по аналогии с «Персикой» и «Аттидой» можно думать, что в недошедших частях «Атлантиды» сохранился чисто исторический материал.

Во фрагменте 56 (по Мюллеру) сообщается о дочерях Атланта — плеядах Тайгете, Майе, Электре, Алкионе, Стеропе, Келено и Меропе и их связях с богами и героем Сизифом, от которых произошли Лакедемон, Гермес, Дардан, Гирией, Эномай, Лик, Главк. Фрагмент 54 повествует о правнуках Атланта, потомках Эномая и смертной женщины Ниобы: четырех сыновьях, из которых сохранились имена трех (Архенор, Менестрат, Архагор), и трех дочерях, из которых фрагмент дает имена двух — (Оигии и Астикратии), имя третьей, Гипподамии, восстанавливается по другим авторам. Из фрагмента 58 мы узнаем об одном из внуков Атланта — критянце Ясионе, сыне Зевса от плеяды Электры. Из дошедших до нас фрагментов это единственное прямое указание на Крит.

Таким образом, родословную Атланта по дошедшим частям «Атлантиды» Гелланика с некоторыми дополнениями из других авторов можно представить следующим образом:

	плеяда Тайгета		
	Зевс	Лакедемон (фр. 56)	
	плеяда Майя		
	Зевс	Гермес (фр. 56)	
Атлант	плеяда Электра	Дардан (фр. 56)	
океанида *	Зевс	Ясион (фр. 58)	Атланта *
Плейона	плеяда Алкиона	Деметра *	Гармония *
	Посейдон	Гирией (фр. 56)	

\* Звездочкой отмечены имена, заимствованные из других авторов, но, несомненно, восходившие к не дошедшим до нас частям все той же «Атлантиды» Гелланика.

плеяда Стеропа
Арес

Эномай (фр. 56, 54)
Ниоба (фр. 54)

Архенор (фр. 54)  
 Менестрат (фр. 54)  
 Архагор (фр. 54)  
 Огигия (фр. 54)  
 Астикратия (фр. 54)  
 Гниподамня \*

плеяда Келено
Посейдон

Лик (фр. 56)
--------------

плеяда Меропа
Сизиф

Главк (фр. 56)
----------------

Было время, когда греческие мифы, изложенные в виде системы Геснодом, Геллаником и другими древними мифографами, истолковывались в духе аллегорических, солярно-мифологических и других антиисторических теорий. Археологические открытия в области Эгейского мира во всей их зримости и реальности обеспечили победу историческому пониманию мифов. После выхода работ шведского ученого М. Нильсона<sup>6</sup> трудно сомневаться в том, что так называемая олимпийская мифология восходит ко второй половине II тыс. до н. э., отражая государственный строй и общественные отношения микенской эпохи. Если сравнить ее с мифологией египтян или вавилонян, это молодая мифология. Но в ней сохранились некоторые элементы более ранних мифологических представлений микенского мира.

Фигура Атланта, сына титана Япета и океаниды Климены<sup>7</sup> принадлежит к древнейшему слою мифологических персонажей. Само имя Атлант, как имена многих других мифических героев, по весьма резонному предположению В. Бранденштейна, происходит от названия страны Атлантида<sup>8</sup>. Страна же эта, как мы впоследствии увидим из родословной потомков Атланта, не имеет ничего общего с

<sup>6</sup> Nilsson M. The Micenean Orygin of Greek Mythology. Berkeley—California, 1932.

<sup>7</sup> Hesiod. Theog.; 507 sqq. По другим мифологическим версиям, Атлант был сыном Урана, Эфира, Посейдона. Матерью его считалась богиня земли Гея и океанида Асия.

<sup>8</sup> Brandenstein W. Atlantis. Wien, 1951.

Атлантическим океаном. Перенос имени Атлант (Атлас) на дальний запад по всей видимости является воспоминанием микенской эпохи о более ранних плаваниях критян, а сам образ гиганта, поддерживавшего небесный свод, доносит представления микенцев о могуществе эгейской Атлантиды.

Сказание о дочерях Атланта плеядах обнаруживает явные следы сложившейся у древних критян мифологии моря. Само слово «плеяды» некоторые древние авторы производили от слова *pleo* в эпическом его звучании *pleio* — плыть. Но и в истолковании плеяд как небесного созвездия, они являются покровительницами моряков, ибо их восхождение на небе считалось началом наиболее благоприятного периода для мореплавания. Одним из мест действия мифа о дочерях Атланта являются пещеры на побережье Пелопоннеса близ Пилоса<sup>9</sup>. В этом, возможно, содержится скрытое указание на критское происхождение культа плеяд в Пелопоннесе, поскольку пещерные культы характерны как раз для Крита.

Наиболее близки к морю и одновременно к Криту потомки Атланта в третьем и четвертом поколении. Критское происхождение внука Атланта Ясиона известно не только Гелланику, но и Гесиоду, сообщающему, что Ясион сочтлся на Крите браком с Деметрой, вследствие чего родился Плутон<sup>10</sup>. Из рассказов других поэтов и мифографов известно, что за связь с Деметрой Ясион был поражен молнией Зевса, обречен на пребывание в подземном царстве, откуда его на некоторое время возвращали на землю для возобновления священного брака с Деметрой<sup>11</sup>. Таким образом, Ясион — критское умирающее и воскресающее божество растительности, и упоминание его Геллаником — одно из наиболее отчетливых свидетельств правильности нашего толкования содержания «Атлантиды» Гелланика.

Согласно Гелланику, кроме Ясиона, Электра родила Дардана. Связь этого внука Атланта с Критом выявляется из легенды, согласно которой Дардан возглавлял племя тевкров, переселившееся из Крита в Троаду<sup>12</sup>. Дардан

<sup>9</sup> Strab., VIII, 3, 19.

<sup>10</sup> Hesiod. Theog., 969 sqq. Характерна деталь — «на трижды вспаханном поле».

<sup>11</sup> Hom. Od., 5, 125 sqq.; Diod V., 48 sqq.; Apollod., III, 113, 138. По другой версии, Ясион — сын Электры и царя тирренов Корифа, переселившегося из Италии на Самофраку — Verg. Aen., III, 167 sqq.

<sup>12</sup> Strab., XIII, 1, 48.

связывается также с островом Самофракой, где он жил вместе с Ясионом и Гармонией. После того, как Ясион был поражен молнией, Дардан переселился в Троаду и основал там у подножья горы, носившей критское имя Ида, город Дарданию и стал родоначальником будущих троянских царей<sup>13</sup>. В легенде о Дардане нашли отражение древнейшие связи Крита с Малой Азией, засвидетельствованные ныне раскопками в Чатал-Гуюке (Турция). Там обнаружено святилище VII тысячелетия до н. э., а в нем характерные для Крита религиозные атрибуты, в частности, бычьи головы<sup>14</sup>.

С Критом и его стихией — морем — не менее тесно связан Главк. Согласно Гелланику, он сын дочери Атланта Меропы, по другой версии, отцом Главка был критский царь Минос, а матерью дочь Гелиоса Пасифая<sup>15</sup>. Сохранивший эту версию Аполлодор сообщает подробности жизни Главка, которые, очевидно, содержались в недошедшей «Атлантиде» Гелланика. Будучи ребенком, Главк забрался в открытый сосуд с медом и утонул. Жрецы критского Зевса куреты сообщили, что исчезнувшего ребенка отыщет тот, кто найдет лучшее сравнение для сказочной коровы Миноса, ежедневно трижды менявшей цвет (белый, красный, черный). Предсказатель Полиид из Аргоса назвал ежевику и нашел Главка, но не смог его оживить. Тогда Минос запер Полиида вместе с мертвым ребенком в склеп, и там он оживил его с помощью волшебной травы, которую ему указала змея. Минос также потребовал, чтобы Полиид передал Главку свой пророческий дар. И тот это сделал, но, прощаясь, забрал его, заставив мальчика плюнуть себе в рот.

Образ Главка сохранил некоторые специфические черты критского быта и религии — погребение в сосудах, сохранение трупов в меду<sup>16</sup>, культ змей. Как критское божество, Главк был связан с морем. Местная беотийская легенда превращает его в рыбака, бросившегося в море за волшебной травой<sup>17</sup>. К нему прилагается эпитет «Понтийский»<sup>18</sup>. Его изображают с телом в водорослях и рыбьим

<sup>13</sup> Apollod., III, 138.

<sup>14</sup> Moscati S. *Archeologia mediterranea*. Milano, 1966, p. 32.

<sup>15</sup> Apollod., III, 17 sqq.

<sup>16</sup> Мед играл значительную роль в культе и при ахейских властителях Крита, о чем свидетельствует надпись на табличке из дворца в Кноссе: «Сосуд с медом для Элевфии в Амниссосе».

<sup>17</sup> Paus., IX, 22, 6 sqq.

<sup>18</sup> Plat. Rep., 10, 611 d; Philostr. Im., II, 15.

хвостом<sup>19</sup>. Появление Главка возвещало морякам в одних случаях гибель, а в других — спасение<sup>20</sup>. После всего сказанного нет сомнений, что включение Геллаником в генеалогию Атланта служит свидетельством того, что Атлантида была трудом о Крите.

В той же мере, в какой Дардан был связан с Троадой, а Главк с Критом, Эномай был соединен мифической традицией с Элидой. Эномай — мифический родоначальник ее царей, но власть его передавалась по женской линии так же, как власть Атланта. Победа Пелопса над Эномаем и его брак с Гипподамией, увековеченные в Олимпийских играх, возможно, знаменовали не только торжество мужского начала над женским, но и победу солнечного бога Аполлона над древними критскими божествами.

Определенные исторические ассоциации с критской морской державой вызывает образ Лика. Это родоначальник обитателей побережья Малой Азии ликийцев, на которых распространялась власть критских царей. Участие ликийцев в морских предприятиях Крита отложилось в легенде о посылке Атлантом Лика на Блаженные острова.

Следующее поколение потомков Атланта представлено у Гелланика такими персонажами, как Архенор, Менестрат, Архагор, Огигия, Астикратия, а у других авторов — Гармония и Аталанта. И если образы мужских потомков Атланта в интересующем нас плане ничего не говорят, то женские дополняют полученную нами картину новыми чертами. Огигия известна уже Гомеру как расположенный в центре моря остров нимфы Калипсо<sup>21</sup>. Точная локализация острова вызвала в древности споры. По одной из версий, Огигия идентична островку Гаудос близ Крита, по другой — островку близ Мальты. Связь Огигии с морской стихией раскрывается также из мифов об Огиге, древнейшем царе Беотии (или Афин), при котором произошел первый из катастрофических потопов.

Гармония не упоминается в дошедших до нас отрывках «Атлантиды» Гелланика, но это чистая случайность. Ее матерью считалась дочь Атланта Электра, одна из плеяд.

<sup>19</sup> Athen., VII, 296 sqq.

<sup>20</sup> Apollod., III, 10, 1. Папирусный фрагмент с упоминанием Лика в издании Гренфелла и Ханга (Pap. Ox., VIII, 1084), восстановленный Хантом и Виламовицем, вряд ли имеет отношение к Гелланику. Он почти полностью совпадает с текстом Аполлодора (Pearson L. Op. cit., p. 177).

<sup>21</sup> Hom. Od., 49; IV, 556; V, 13; 50; VI, 170.

Принадлежность Атланты к циклу мифов о критской Атлантиде доказывается не только сообщением о ее происхождении от критянина Ясиона, но и самим ее именем. Любопытно, что два небольших острова (один близ Эвбен, другой неподалеку от Пирея) назывались Атланта. Хочется думать, что это топонимические следы когда-то широко распространенного в Эгеиде имени, которое затем было перенесено на дальний Запад. Имя Астикратия встречается у одного Гелланика и означает «владеющая городами».

Судя по одному из фрагментов «Атлантиды», с историей Крита был связан и Девкалион. В отрывке упоминается город локров Опунт, где одно время жил Девкалион и где была похоронена его супруга Пирра. Девкалион, по наиболее распространенной версии, сын Миноса и Пасифаи, единственный мужчина, уцелевший после потопа и ставший родоначальником послепотопного поколения людей. Гелланик посвятил Девкалиону особый труд, а его упоминание в «Атлантиде», очевидно, связано с тем, что рассказом о Девкалионовом потопе обрывалась история рода Атланта или, если перейти с языка генеалогического на исторический, история минойского Крита. В той мифической версии реального потопа, которую изложил Гелланик, Девкалион и Ясион — оба критяне и оба принадлежат к одному поколению и оба связаны с разбушевавшимися силами природы (один с водной стихией, другой с поразившим его огнем). Так, в генеалогической форме и в мифических образах воплотились те реальные стихии, которые обрушились на материковую и островную часть Эгеиды в середине второго тысячелетия до н. э.

Рассмотрение фрагментов «Атлантиды» Гелланика позволяет нам вернуться к вопросу о характере этого произведения и его содержании. «Атлантида» собрала все мифы об Атланте, его дочерях, внуках, правнуках. Это был древнейший, «допотопный» слой греческой мифологии, предшествующий мифам о потопе Девкалиона, и мифам фессалийского, беотийского, троянского циклов. Внуки Атланта Дардан, Эномай были родоначальниками царей Трои и Аркадии (последний через свою дочь Гипподамию). Естественно, что в начале «Троянской», «Аттической» и других историй автор напоминал о прародине царей. Так возникали повторения, ставшие источником заблуждения для тех исследователей, которые увидели в «Атлантиде» первую часть «Троянской истории». «Атлантида» на самом

деле — введение ко всем генсалоогическим трудам Гелланика, и, нам представляется, что как подборка древнейших легенд «Атлантида» включала прежде всего мифы минойского Крита, отражающие морское могущество критской державы, ее древнейшие связи с Малой Азией и Пелопоннесом и освоение средиземноморского Запада.

Мифы об Атланте и его потомстве отражают также характерные для минойского Крита черты религии с преобладанием женских начал над мужскими. Вспомним, что у Атланта, согласно Гелланику, не считая гесперид и гиад, которых перечисляют другие авторы, было семь дочерей-плеяд, а его внук Ясион был возлюбленным богини плодородия Деметры. Все это в полной мере соответствует минойской религии с ее культом великой богини матери.

Изучение сведений Гелланика об Атлантиде и его потомках подготовило нас к восприятию той «классической» Атлантиды, которая в изложении Платона вот уже многие века привлекает как тех, кто верит в существование затонувшего материка, так и тех, кто вслед за учеником Платона Аристотелем считает весь рассказ об Атлантиде выдумкой.

Вряд ли возможно какое-либо суждение о достоверности или недостоверности рассказа Платона в отрыве от его общей историко-философской концепции. Еще менее допустимо отсечение рассказа Платона о праафинском государстве от его сведений об Атлантиде как это имеет место в монографии Н. Ф. Жирова<sup>22</sup>. Лишь рассмотрение сведений об Атлантиде в контексте диалогов Платона «Тимей» и «Критий» и в связи с его отношением к мифологии может избавить «атлантологию» от субъективизма и модернизации.

«Тимей» и «Критий» входят в трилогию, тематически связанную с главным трудом Платона «Государство». В «Государстве» Платон нарисовал проект идеального политического устройства, обеспечивающего счастье человеку и обществу в целом. Эта же проблема идеального государства трактуется в «Тимее» и «Критии». Действие диалога «Тимей» переносится в годы Пелопоннесской войны, когда еще был жив Сократ и когда западное направление афинской политики впервые приобретает реальное значение. Сократ высказывает пожелание услышать о луч-

---

<sup>22</sup> Жиров Н. Ф. Атлантида (Основные проблемы атлантологии). М., 1964.

шем государстве, достигшем расцвета и вступившем в борьбу с другим государством. В ответ на это Тимей и начинает историю Атлантиды и праафинского государства (Plat. Tim., 21 a sqq.), а Критий продолжает ее в диалоге, который носит его имя.

История Атлантиды облечена в привычную для греков форму мифа. Но мифы Платона разительно отличаются от тех мифов, которые излагались его предшественниками мифографами. В столкновении с передовой ионийской наукой и общественными прослойками, идущими на смену старой аристократии, мифологическое мышление греков в начале VI в. до н. э. переживало жестокий кризис<sup>23</sup>.

С кризисом полиса стала ощущаться утрата мифологии как идеологической опоры господствующего класса, но возврат к старым мифам был невозможен. Так возникли предпосылки для создания новой мифологии, которую мы можем назвать «научной».

Предание об Атлантиде полностью укладывается в понятие «научного мифа». «Атлантида» Платона это не просто сказочная страна, наподобие Блаженных островов греческой мифологии, а атланты мало чем напоминают сказочные народы — гипербореев, пигмеев и пр., которых легенда вынесла за пределы хорошо известного мира. Атлантида — это амальгама географических, экономических, политических и иных научных знаний, объединенных господствующей государственной идеей демиурга. Для Платона Океан — это не божество, породившее богов и людей, и не могучая река, обтекающая всю землю, как он изображался Гомером (Il., XVIII, 607) и другими поэтами, а огромное водное пространство, которое мог занять «остров более Ливии и Азии, вместе взятых» (Tim., 25 c), (Krit., 108 e)<sup>24</sup>. Такие точные сведения об Океане Солон, разумеется, не мог почерпнуть у египетских жрецов, географический кругозор которых был весьма ограничен. Они результат знакомства Платона с недошедшими до нас географическими сочинениями типа труда Пифея. Плавание за Геракловы Столпы породили в современной Платону

<sup>23</sup> Лурье С. Я. Очерки по истории античной науки. М.—Л., 1947, с. 50 и сл.

<sup>24</sup> Попытка А. Эндрю «исправить» это место и вместо «остров более Ливии и Азии» читать «Между Ливией и Азией» должна быть отвергнута (Andrew A. Larger than Africa and Asia.— Greece and Rome, 1945, 14, p. 76—79).

науке теорию шарообразности земли. Отсюда знаменитое место с упоминанием «противолежащего материка», куда можно было перебраться из Атлантиды, пока она не опустилась на океанское дно (Tim., 25 a). В XVI в. это место воспринималось как указание на возможность плавания в западном направлении и воодушевляло мореплавателей. После открытия Колумбом Америки многие были уверены в том, что Платон знал о ее существовании.

Результатом знакомства Платона с литературой о «круглых городах» Востока<sup>25</sup>, а также с научными спорами о градостроительстве после создания системы Гипподама является рассказ о структуре столицы атлантов (Krit., 115 b). Город образован водяными и земляными кольцами, перерезанными радиальными каналами, с круглым островом в центре, с тремя внешними гаванями.

Из обработанных греками восточных легенд в платоновскую Атлантиду перешла эта символика срединного пункта и цветовых гамм. По Геродоту, Экбатаны имели семь кругов стен семи цветов — черного, белого, красного, голубого, розового, серебряного, золотого (I, 98). У Платона стена наружного земляного кольца Атлантиды отделана медью, стена внутреннего вала покрыта льдом из олова, а стена самого акрополя «орихалком, испускавшим огнистое блистание» (Krit., 116 c).

Немало познавательного материала содержится в описании политического устройства и экономики затонувшего материка. Это идеи самого Платона или его времени, но никак не времени Солона и тем более Египта солоновской эпохи. Выбор места для столицы в той части острова, которая обращена к южному ветру, а с севера защищена горами (Krit., 118 a) свидетельствует о знакомстве Платона с идеями современной ему медицины, в частности с сочинением Гипократа «О воздухах, водах и местностях». В нем оптимальным местоположением для города называлось такое, когда он расположен к теплым ветрам, а от холодных закрыт (De aere, 3). Обитатель каменистой Атики мог только мечтать о том обилии воды, которым отличалась платоновская Атлантида. Имелись два родника с холодной и горячей водой. Они использовались не только для питья, но и для лечения. Воду направляли в купальни «отдельно для царей, отдельно для простых людей, отдельно для женщин и отдельно для коней и прочих подь-

---

<sup>25</sup> Herod., I, 98, 181—185; Diod., I, 48; II, 7—9.

яремных животных» (Krit., 117 b). Организация сельского хозяйства в Атлантиде была такой, словно бы древние цари были знакомы с экономическими трактатами IV в. до н. э. Общегосударственные работы обеспечили небывалое плодородие полей Атлантиды. Они давали урожай дважды в году. Огромные и разнообразные леса доставляли материал, необходимый ремесленникам. Богатства привлекали купцов. «Проток и самая большая гавань были переполнены кораблями, и притом в таком множестве, что днем и ночью слышались говор, шум и стук» (Krit., 117 e). В Атлантиде нет философов, управляющих государством, но их заменяют цари-судьи, творящие суд или подвергающиеся суду, если они переступают законы Посейдона (Krit., 119 c, 120 a). Сословие воинов состоит из земледельцев, владеющих равными участками земли и снабжающих войско колесницами, тяжелым и легким вооружением. Организация общества в «Атлантиде» иная, чем та, которую Платон обрисовал в «Государстве», но все же это идеальная, а не реальная система. Характеризуя ее, Платон подчеркивает божественное происхождение законов и образа жизни атлантов: «В продолжение многих поколений, покуда не истощилась унаследованная от бога природа, правители Атлантиды повиновались законам и жили в дружбе со сродным им божественным началом: они блюли истинный и во всем великий строй мысли, относились к неизбежному опеределяемому судьбы и друг к другу с разумной терпеливостью, презирая все, кроме добродетели, ни во что не ставили богатство и с легкостью почитали чуть ли не за досадное бремя груды золота и прочих сокровищ» (Krit., 120 e).

Здесь выступает дидактическая сторона мифа об Атлантиде. Под видом государства отдаленного прошлого Платон создавал картину государства будущего так, как оно рисовалось ему, человеку науки и политику. Атлантида — это утопия древнего мира, «научный миф» эпохи кризиса полиса и не более того.

Согласно Плутарху, «Платон ревностно старался разработать до конца и разукрасить рассказ об Атлантиде, словно почву прекрасного поля, запущенного, но принадлежащего ему по праву родства. Он воздвиг вокруг начала обширное преддверие, ограды, дворы, такие, каких никогда не бывало ни у одного исторического рассказа, мифического сказания, поэтического произведения»<sup>26</sup>. К этому

<sup>26</sup> Plut. Sol., XXXI.

можно добавить, что он столь же тщательно стремился замаскировать подлинные источники своего прекрасного мифа. Этому требовала специфика создаваемого Платоном жанра и упорное нежелание автора, чтобы его смешивали с мифографами — рассказчиками басен. Поэтому он так настойчиво подчеркивает доказательность своего рассказа (Krit., 107 в), тщательность исследования (Krit., 107 d), поэтому он уверяет, что его рассказ не выдумка, а сущая правда (Tim., 26 е), и история Атлантиды совершенно правдива (Tim., 20 d).

Той же цели служила тщательно разработанная Платоном версия источника Атлантиды, призванная скрыть швы его собственной творческой работы. Источником выставляется «семейное предание», сохраненное в роде рассказчика Крития. Участник диалога Критий будто бы десятилетним мальчиком услышал об Атлантиде от своего очень старого деда, который в свою очередь узнал о ней от Солона, а Солон почерпнул свои сведения у очень старого египетского жреца (Tim., 22 в). Чтобы оценить египетский «первоисточник» Атлантиды, следует вспомнить, что ссылка на египетского жреца — это общее место греческой исторической литературы V в. до н. э., проникнутой уважением к Египту как к стране древней мудрости. О своей встрече с египетским жрецом рассказал первый из греческих историков Гекатей в «Описании земли». Ссылкой на египетского жреца воспользовался и Геродот, чтобы посрамить Гекатея<sup>27</sup>. Возвращаясь к Платону, заметим, что авторитет египетского жреца понадобился ему не только для придания своему рассказу большей убедительности, но и для оценки греческой историко-мифологической традиции: «Вы, эллины, всегда дети: эллина старца нет. Все вы юны душой, потому что вы не имеете ни одного древнего мнения, восходящего к древнему преданию, ни одного знания, поседевшего от времени» (Tim., 22 в).

Как мы могли убедиться из анализа отрывков Гелланика, «египетский жрец» ошибался. Греки имели древние предания. Будучи менее древними, чем египетские, они обладали одним значительным преимуществом по сравнению с ними. Они содержали фантастическую, но все же достаточно широкую картину открытия мира. В действительно древней египетской мифологии не было ничего подобного греческому мифу об аргонавтах или мифу о посещении Ге-

---

<sup>27</sup> Herod., II, 143.

раклом владений Атланта на дальнем Западе. Дальний Запад был для египтян покрыт еще более непроницаемым мраком, чем для греков.

Посредником в передаче «египетского предания» Платон делает Солона, пользуясь тем, что Солон во время своих странствий действительно посетил Египет и должен был беседовать с египетскими жрецами. Но авторитет Солона как передатчика египетской мудрости в значительной степени подрывается тем, что еще в середине V в. до н. э. Солон был причислен к «семи мудрецам» и образ его был мифологизирован. Геродот делает Солона собеседником с лидийским царем Крезом, не смущаясь тем, что последний жил в другое время (I, 29 и сл., 86 и сл.). Как известно, Солон был не только политическим деятелем, но и поэтом. До нас дошло 290 стихотворных строк из его произведений. В древности было известно 5000 строк, и ни одна из них не содержала имени Атлантиды. Это явствует из замечания Платона, что Солон занимался поэзией мимоходом (ep рагего) и к тому же из-за смут вовсе вынужден был забросить поэзию и поэтому не довел до литературной формы свой замысел (Tim, 21 с). Предание об Атлантиде — это литературная мистификация, которая может обмануть лишь того, кому не известно, что греки задолго до Платона знали мифы об Атланте и его потомстве, а Гелланик еще в V в. до н. э. изложил их в генеалогической форме.

Фиктивность египетского происхождения излагаемого Платоном предания явствует из его генеалогической схемы (Krit., 114 b—d), которую мы представим графически:

Эвгенор — Левкиппа

Клито — Посейдон

Атлант,	Амферей,	Мнесей,	Эласипп,	Азаэс,
Эвмел (Гадир)	Эвмон	Автохтон	Мнестор	Дианреп

Создавая новый миф об Атлантиде, Платон должен был ввести новых персонажей, неведомых старому мифу. Из старого мифа в генеалогическую схему Платона вошли лишь океанида Левкиппа, бог Посейдон и титан Атлант. Все остальные персонажи, однако, носят типично греческие имена, имеющие определенное значение. Имя возлюбленной Посейдона значит «славная», имена пяти пар рожденных ею близнецов переводятся (начиная с Эвме-

ла) — «богатый стадами», «пылкий», «круглый», «мыслитель», «рожденный землей», «жених», «знойный», «великолепный». Для того, чтобы объяснить, каким образом герои египетского предания носили типично греческие имена, Платон сообщает, что Солон, выясняя значение туземного названия, записывал его на своем языке (Krit., 113 b). Но имя какого египетского героя носит Атлант? Почему второе имя его брата Эвмела Гадир? Не мог же герой, живший девять тысяч лет до Солона, получить имя финикийской колонии, основанной за 600 лет до Солона? Искусственный характер построения Платона выявляется также в переводе наследования с более древней женской линии в мифе об эгейской Атлантиде на мужскую — пять пар близнецов, типичное пифагорейское число<sup>28</sup>.

В рассказе Платона имеется много несообразностей, вызванных его стремлением вынести Атлантиду за пределы обитаемого мира. И прежде всего в этом плане обращает на себя внимание описание Платоном войн атлантов с праафинским государством (Krit., 108 e — 112 e). Греческая традиция сохранила сведения о позорной зависимости Афин от Крита и освобождении от нее благодаря героизму Тезея<sup>29</sup>. Отсюда исходит предположение, что Афины вели войну с морским государством и этим государством был Крит. Перенос Атлантиду за Геракловы столпы, Платон, однако, не изъясил из своего источника мифологическую версию о войнах древних афинских царей с державой Миноса. Он ее модернизировал. Картина войны получилась настолько реалистичной, что атланти-афинская война стала напоминать греко-персидские войны<sup>30</sup>. Но при этом противник находился не в Эгеиде, а в Атлантическом океане! Эту несообразность нельзя исправить никаким остроумием. Но ее можно объяснить. Нарисовав идеальный монархический строй Атлантиды, Платон нуждался в качестве противовеса ему в идеальной демократии, и поскольку в Атлантическом океане не оставалось места для другой Атлантиды, Платону пришлось презреть расстояние во имя идеи.

---

<sup>28</sup> Не будем забывать, что Тимей — пифагореец. Отсюда не только идеальные числа, но и конфигурация Атлантиды — правильный продолговатый четырехугольник, концентрические круги стен и кавалов столицы. Подробнее см.: Frank E. Plato und die sogenannte pythagoreer. Halle, 1923, S. 217.

<sup>29</sup> Plut. Tes., XV.

<sup>30</sup> Friedlander D. Op. cit., S. 233 sqq.

Гибель Атлантиды Платон относит за 9 тысяч лет до посещения Солонем Египта (Krit., 108 e). Это число всегда вызывало в науке споры, поскольку оно не согласуется ни с древностью исторических представлений египтян, ни с временем великих катастроф согласно геологии. Отсюда, с одной стороны, попытки исправить Платона и читать вместо 9000 лет 900 лет и, с другой стороны, отыскать неегипетский источник хронологии Платона. В. Бранденштейн связал платоновскую цифру с иранским учением о сотворении мира с циклом в 9 тысяч лет и уничтожением через три тысячи лет после сотворения<sup>31</sup>. Однако у Платона цифра 9 тысяч лет не имеет какого-либо сакрального значения, а трехтысячный период существования мира до катастрофы ему вовсе неизвестен. Мы можем указать на греческий источник хронологии Платона. Это египетский логос Геродота, его рассказ о храме Аммона с 345 статуями, демонстрируемыми путешественникам<sup>32</sup>. Если принять вслед за Геллаником длительность поколения за 30 лет, 345 статуй дают цифру 10 850 лет. Это и есть тот предел, в рамках которого должен был оставаться Платон, чтобы не исчезла убедительность рассказа.

Археологические открытия обострили интерес к «Атлантиде» Платона и вызвали надежду, что она может быть так же открыта, как Троя или Микены. Уже в 1913 г., вскоре после начала археологической эпопеи Артура Эванса, появилась работа К. Фроста, в которой содержалось утверждение о тождестве минойского Крита с платоновской Атлантидой<sup>33</sup>. Автор в достаточной мере наивно объясняет, что Солон на самом деле посетил Египет и получил от египетского жреца сведения о критской державе времени египетского Нового царства, и эти сведения легли в основу рассказа Платона об Атлантиде. При этом Фрост отрицал историчность колоссального наводнения, погубившего Крит, как прообраз Атлантиды, полагая, что под потопом следует понимать волны вторжений народов, обрушившиеся одна за другой с 1400 по 900 гг. до н. э.

Открытие С. Маринатосом следов гигантского извержения вулкана на острове Санторин естественным образом вызвало новую волну атлантомании и превратило рассказ Платона чуть ли не в исторический источник. Круг

<sup>31</sup> Brandenstein W. Op. cit., S. 54.

<sup>32</sup> Herod., II, 143.

<sup>33</sup> Frost K. T. Journal of Hellenic Studies, 1913, XXXIII, p. 189 sqq.

лая лагуна, оставшаяся на месте ушедшего под воду кратера, стала кому-то напоминать конфигурацию платоновской столицы атлантов<sup>34</sup>.

Изучение произведения Платона в сравнении с произведением Гелланика не только рассеивает миф об атлантической Атлантиде, но и показывает бессмысленность поисков параллелей между археологическими памятниками Эгеиды и рассказом Платона. Диалоги Платона никогда не станут путеводителями по местам древних цивилизаций, каким является Павсаний или даже Гомер. И так же, как платоновский наблюдатель, находясь в глубокой пещере, не мог по мелькающим на стене теням, постигнуть сущность мира вещей (Реп. VII, 514—516), современный исследователь Платона не найдет в его Атлантиде реального Крита, а отыщет лишь в отраженном виде Крит «Атлантиды» Гелланика.

Позиция, занятая Платоном в отношении к мифу, является показателем его отношения к истории. Среди мыслителей античного мира нет равного ему в воинствующем антиисторизме. Характеризуя времена глубочайшей древности, век Кроноса, Платон создает фантастическую картину рождения людей прямо из земли, общества, не нуждающегося ни в удобствах жизни, ни в собственности, не знающего войн и раздоров. Платону нет никакого дела до того, могло ли существовать Афинское государство девять тысяч лет до его времени и вообще, как и почему возникает государство. С беззаботностью гения он соединяет сложившиеся в ходе исторического развития в разных регионах политические институты и лепит из них нечто подобное мифическим химерам. Его взгляд на культуру и цивилизацию может быть назван историческим лишь в том ограниченном смысле, что он не отрицает эволюции человеческого общества в связи с дифференциацией потребностей. Когда Платон говорит о недопустимости для поэтов таких сюжетов, которые разрушали бы у граждан бодрость духа, то это может быть отнесено не только к Гомеру, но и к Геродоту или Фукидиду. Идеальной гражданину не обязательно знать истину, если она безобразна или делает людей слишком возбужденными и чувствительными. «Правителям государства, — пишет Платон, — надлежит применять ложь как против неприятеля, так и ради своих граждан — для пользы своего государства»

---

<sup>34</sup> Luce J. The End of Atlantis. London, 1969.

(Рер., 389 с). Разумеется, в таком государстве не нашлось бы места для историографии, ставящей цель разыскать истину.

\* \* \*

Открытие в конце прошлого века «Афинской политики» Аристотеля оживило интерес к проблеме «Аристотель и история», трактовавшейся до того преимущественно на материале его «Политики». В то же время оно ее усложнило, выдвинув ряд сложных дополнительных вопросов. Сравнение Аристотеля как автора «Афинской политики» с Геродотом, Фукидидом, Ксенофонтом, излагавшим те же события афинской истории, поставило его в глазах некоторых исследователей в неблагоприятное положение. По мнению О. Зеека, Аристотель был слабым и поверхностным историком, и занятие историей бросило тень на его безупречную репутацию философа<sup>35</sup>. Американский историк К. Фритц, видимо, соглашаясь с низкой оценкой «Афинской политики», оставляет ее в стороне и дает характеристику Аристотелю как историку на основании общеполитических трудов Стагирита<sup>36</sup>. В нашем очерке мы будем исходить из сложившейся в нашей науке традиции изучения «Афинской политики» совместно с «Политикой»<sup>37</sup>, не исключая других трудов Аристотеля, позволяющих понять, как был выработан его исторический метод.

Как известно, Аристотель был самым всеобъемлющим мыслителем и ученым древнего мира. Им внесен решающий вклад в огромное множество наук. Он заложил фундамент логики и этим оказал существенное влияние на формирование математики, хотя математиком и не был. Он связал себя с возникновением физики, особенно с концепцией пространства и времени, много занимался проблемами астрономии и метеорологии. Он интересовался био-

---

<sup>35</sup> Seek O. Quellenstudien zu den Aristoteles Verfassungsgeschichte.— Klio, 1904, VI.

<sup>36</sup> Von Fritz K. Aristotle's Contribution to the Practice and Theory of Historiography. University of California, 1958.

<sup>37</sup> Бузескул В. П. «Афинская политика» Аристотеля как источник для истории государственного строя Афин до конца V в. до н. э. Харьков, 1895; Никитский А. В. «Афинская политика» Аристотеля. М., 1907; Покровский М. Исследование по «Афинской политике» Аристотеля.— ФО, 1895, т. VIII, с. 3—68, 121—141; Доватур А. И. Политика и политии Аристотеля. М.—Л., 1965.

логическими проблемами и написал огромный труд по зоологии. Видное место в научном наследии Аристотеля занимают его труды по этике, по теории художественного творчества (поэтике), психологии и многим другим отраслям знания.

Сила Аристотеля как теоретика объясняется реализмом его метода, обращенного к опыту. И в понимании истории человечества (так же, как и в понимании мира вообще) Аристотель отверг идеалистический подход своего учителя Платона<sup>38</sup>. Он исходил не из этического идеала, а из социальной практики. Это позволило ему раскрыть закономерную систему отношений в античной формации, понять общественную природу человека и подойти к изучению экономических явлений. «Гений Аристотеля, — писал К. Маркс, — обнаруживается именно в том, что в выражении стоимости товаров он открыл отношения равенства»<sup>39</sup>.

В то же самое время Аристотель рассматривал общественные отношения рабовладельческого общества как вечные, неизменные, так же это делают теоретики и апологеты современного капиталистического общества. Во всем этом сказалась двойственность философской системы Аристотеля, ее историзм и антиисторизм (в смысле ограниченности, метафизичности в понимании развития).

Однако если мы понимаем и силу и слабость Аристотеля, то для историографии своего времени он оборачивался только силой, поскольку в тех условиях не существовало и не могло существовать понимания действительности, более близкого к истине.

Огромное влияние на развитие научного направления в античной историографии сыграло учение Аристотеля о биологической целесообразности. Источником для него явились наблюдения над строением живых организмов. Примерами целесообразности Аристотелю служили развитие, внутренне присущее живым телам, целесообразность инстинкта животных, взаимная приспособленность и целесообразность их органов. Аристотель применил свое учение биологической целесообразности к художественной дея-

---

<sup>38</sup> В. И. Ленин усмотрел в критике Аристотелем «идей» Платона «материалистические черты» и расценивал ее как «критику идеализма вообще» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 254—255). В то же время В. И. Ленин проследил по всем пунктам колебания Аристотеля между идеализмом и материализмом, между диалектикой и метафизикой.

<sup>39</sup> Маркс К. Капитал, 1955, т. 1, с. 66.

тельности, выявив целесообразность в использовании и подчинении материала.

Идея биологической целесообразности лежит в основе учения Аристотеля о государстве. Перенося на область человеческих отношений свой метод анализа животных организмов, Аристотель стал рассматривать государство как синтез простейших элементарных частиц — семей, а отношение в самой семье между господином и рабами, отцом и детьми, мужем и женой как своего рода модель для выяснения отношений господства и подчинения в государстве. В противовес утопическим планам реформировать существующие государства по идеальной схеме он стремился упрочить их, исследовав причины возникающих в них губительных социальных конфликтов. Как бы мы ни относились к руководившим Аристотелем мотивам, мы не можем не видеть, что «Политика» нацеливала на изучение таких сторон истории, которые до этого оставались в тени.

Немалое значение в историографической практике имело понимание Аристотелем истории как наиболее универсальной из наук, обращенной не только к прошлому человечества, но и к прошлому каждой из научных дисциплин<sup>40</sup>. То, что один из его учеников — Феофраст — создал значительный труд по истории философии, другой ученик Менон — труд по истории медицины, а третий ученик Эвдем — труд по истории математики, не могло не сказаться и на подходе последующих поколений историков к самой истории. Возникает понимание того, что и она имеет свою историю. Скучные замечания о предшественниках, подобные ироническому и горькому отзыву Фукидида о прозаиках, «сложивших свои рассказы в заботе не столько об истине, сколько о приятном впечатлении для слуха» (I, 21, 1), сменяются под прямым или косвенным воздействием Аристотеля детальными историографическими обзорами, из которых мы не только узнаем об отношении историка к своим задачам, но и черпаем сведения о не дошедших до нас исторических трудах.

Создавая в «Поэтике» теорию художественного творчества, Аристотель определил общую основу всех литературных жанров — эпоса, трагедии, комедии — подражание (мимесис)<sup>41</sup>. Мы могли бы ожидать, что среди них

<sup>40</sup> Von Fritz K. Op. cit., p. 115.

<sup>41</sup> О «Поэтике» см.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1976, с. 424—519. Библиографию работ о «Поэтике» см.: с. 754—756.

будет и историография, которая частично относилась к области искусства. Однако Аристотель исключает историографию из числа жанров, основанных на подражании. Состояние текста «Поэтики» не дает возможности до конца понять, чем он руководствовался в этом исключении. Можно лишь высказать предположение, основанное на понимании его философской позиции. Аристотель, очевидно, исходил из задач историографии как науки, единственным образцом которой до него был труд Фукидида. Рассмотрение историографии в кругу других художественных жанров означало бы признание законности того вида художественно-драматизованной историографии, примером которого служил труд Геродота. В пользу такого понимания говорит и противопоставление Аристотелем в той же «Поэтике» художественного познания историческому как более глубокое и обобщающее частной фактичности: «Поэзия философичнее и серьезнее истории: поэзия говорит о более общем, история о единичном»<sup>42</sup>. Поскольку непосредственно перед этим речь идет о Геродоте и невозможности переложения его сочинения стихами, ясно, что Аристотель не высказывал «неверный в отношении исторической науки» взгляд, как его упрекают В. Асмус и А. Ахманов<sup>43</sup>, а осуждал лишь ту наиболее распространенную (но не единственную) форму исторических трудов, типичнейшим примером которой являлась «История» Геродота. Другой еще более прозрачный смысл противопоставление поэзии истории получает благодаря примеру с битвой при Саламине и битвой в Сицилии (при Гимере — А. Н.), происшедших в одно время. С помощью этого примера Аристотель стремится показать, что установление синхронности событий, являющееся целью истории, выявляет случайные отношения, характеризует действия, происходящие в одно время, но в разных местах, в то время как поэзия может не заниматься такими деталями, а рассматривает то, что могло бы случиться. Очевидно, Аристотель противопоставляет Эсхила, писавшего о битве при Саламине, какому-то

---

<sup>42</sup> Arist. *Poetica*, 9, 1451. Толкование этих мест см.: Weil R. *Aristote et l'histoire. Essai sur la «Politique»*. P., 1960, p. 163. См. также: Доватур А. И. Аристотель и история. — ВДИ, 1978, № 3, с. 3 и сл.

<sup>43</sup> Асмус В., Ахманов А. Аристотель. — *Философская энциклопедия*, 1960, I, ст. 94.

историку, излагавшему вслед за Геродотом греко-персидскую войну. Здесь опять-таки критика истории, занимающейся случайными фактами и не выясняющей закономерности войны и победы.

Учение Аристотеля о подражании было перенесено его учениками на историографию. В этом отношении наиболее показательна позиция, занятая Дуридом из Самоса: «Эфор и Феопомп очень далеко отстоят от исторической действительности. В их описаниях нет жизненной правды (*mimesis*) и они не доставляют удовольствия (*hedone*), поскольку их единственная забота писание само по себе». Понятие *mimesis* в труде историка Дурида является распространением на сферу истории теории «подражания», разработанной Платоном и Аристотелем. Высказано предположение, что впервые применил теорию подражания к истории Феофраст в своем не дошедшем до нас сочинении «Об истории». Вполне возможно, что это так и было, поскольку Дурид являлся учеником Феофраста. Но кому бы ни принадлежал приоритет использования теории подражания в сфере историографии, эта теория прочно вошла в оборот в связи с учением Аристотеля.

Значительное, но опять-таки косвенное, влияние на античную историографию оказала этическая теория Аристотеля, развиваемая в его «Этике»<sup>44</sup>. Влияние это следует прежде всего искать в той сфере, которая касается биографий великих людей. Аристотель распространяет свою теорию биологической эволюции и на область формирования характера. Согласно мнению философа, характер развивается от тех зародышей или элементов, которые наследуются от родителей. Природа не делает человека добродетельным. «Добродетель возникает и развивается по преимуществу путем обучения, почему и нуждается в опыте и во времени» (II, I). Отсюда возможность общества оказывать влияние на воспитание совершенных людей и необходимость самой этики как науки о воспитании. Характер образуется в развитии, в процессе человеческой деятельности. Деятельность и есть основа воспитания. «Архитектор (научается своему искусству) строя дома, кифаред, играя на кифаре. Точно так же мы становимся справедливыми, творя справедливые дела, умеренными, действуя с умеренностью, мужественными, поступая мужественно»

---

<sup>44</sup> Von Fritz K. Aristotle's Contribution, p. 129. См. также: Dihle A. Studien zur Griechischen Biographie. Göttingen, 1956.

(Eth. Nik., II, 1, 1103 b). Деятельность ведет не только к развитию наилучших черт характера, но и наихудших. «Тем же самым путем и средствами, которыми возникает всякая добродетель, она и гибнет». Таким образом, Аристотель распространяет и на сферу характеров свою органическую теорию и даже употребляет ту же терминологию — зарождение, рост и гибель.

Теория Аристотеля о характерах была развита его учеником и преемником по Ликею Феофрастом, оставившим небольшой трактат «Характеры»<sup>45</sup>. В нем выделены 30 типов разного рода людей с определенными характерами — «притворщик», «льстец», «пустослов», «деревенщина», «суеверный». Согласно мнению, высказанному еще Казаном (1652 г.) в издании «Характеров», книга эта была выработана на материале типов новой комедии. Вариантом этой теории является взгляд, что в основе «Характеров» лежит мим. Но правильнее будет сказать, что типологическое описание характеров — это часть Аристотелевой этической системы с ее выделением простейших элементов во всех явлениях и рассмотрением каждого из них в отдельности и в развитии. Этическая теория оказала влияние на оценку роли личности Полибием, на развитие биографического жанра, вершиной которого явились параллельные жизнеописания Плутарха.

Человек может избрать не только добро и зло, но и жизнь созерцательную или деятельную, или направленную на наслаждение. Эта теория побудила учеников Аристотеля проявить интерес к различным типам жизни: сократической, пифагорейской, стоической. Они писали биографии, иллюстрируя тот или иной тип жизни. Отсюда берет начало биографический жанр, родоначальником которого был ученик Аристотеля Аристоксен Тарентский<sup>46</sup>. Среди 453 приписываемых ему книг были циклы биографии философов, флейтистов, трагиков. В самом подходе Аристоксена к биографиям по профессиональному признаку называется типологический метод Аристотеля.

Несмотря на неудовлетворительное состояние, в котором до нас дошел текст «Афинской политики», несомнен-

---

<sup>45</sup> Перевод трактата в кн.: Менандр. Комедии. Герод. Мимиабы. М., 1964, с. 260—286.

<sup>46</sup> Отрывки произведений Аристоксена см.: Werli F. Die Schule des Aristoteles. Basel, 1944—1955, Heft. II. О нем см.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975, с. 664 и сл.

но, что это не поверхностная компиляция, как ее считали гиперкритики, а произведение большого мастера. Стиль изложения исторической части трактата приближается к стилю труда Фукидида, представляя собой не пересказ фактов, но своего рода исследование хода истории.

Чтобы понять особенности труда Аристотеля, достаточно сравнить часть, посвященную Солону, с тем, что говорится о Солоне у Геродота. Для Геродота Солон — красочная фигура, персонаж назидательных новелл. Для Аристотеля Солон — политик и государственный реформатор. О деятельности Солона Аристотель судит на основании его же стихов, расценивая их как исторический источник.

Разумеется, больше, чем стихи Солона, в этом плане дали бы его законы, и Аристотель это осознавал не меньше, чем мы. Но, по всей видимости, подлинный текст законов на деревянных досках к его времени был уже утрачен, и стихи оказались единственным первоисточником, которым он располагал.

Аристотелю пришлось иметь дело также с большой и очень разноречивой письменной традицией о Солоне, отражающей острую политическую борьбу его времени и последующей эпохи. Солон затрагивал своими реформами имущественные интересы крупных собственников, которыми он пожертвовал ради крестьян и укрепления государства в целом. Крупные землевладельцы обвиняли законодателя в том, что он руководствовался личными интересами, и распространяли порочащий Солона слух, будто тот, зная о времени отмены долгов, воспользовался кредитом, чтобы приобрести земли и не отдать долги, или, по другой версии демократов, не имея корыстных целей, предупредил о реформе друзей, которые совершили этот нечестный поступок и бросили тень на самого Солона (Ath, pol., IV, 6, 2). Аристотель, разумеется, мог бы опустить эту версию, которую он сам называет клеветнической. Но тогда бы у читателя не было представления об остроте конфликта и он бы лишился весьма любопытного и недалекого от истины наблюдения, что новые богачи ведут свое происхождение от имущественного переворота времени Солона. Приводя эту версию, Аристотель, таким образом, сообщает ценные исторические подробности из области социальных отношений. Опровержение клеветы олигархов не означает, что Аристотель становится в этом вопросе на позицию «демократов». Точка зрения самого Аристотеля исходит из общей оценки деятельности Солона и логики его

поведения. «В самом деле, раз во всех отношениях человек оказался настолько умеренным и беспристрастным, что, имея возможность привлечь к себе одну сторону и сделаться тираном в государстве, вместо этого вызвал ненависть к себе обеих сторон и благо и спасение государства предпочел общим выгодам, то неправдоподобно, чтобы этот человек стал марать себя в таких мелких и ничтожных делах» (IV, 6, 3).

Высказывалось, мнение, что Солон представляет для Аристотеля как бы идеал политического деятеля, а к остальным вождям демократии он относится отрицательно<sup>47</sup>. Это мнение основывалось на том, что Аристотель очень сдержанно оценивает Клисфена, а эпоха Перикла занимает в его труде меньшее место, чем эпоха Солона и период той демократии, которая была в Афинах между 411 и 407 гг. до н. э. Диспропорция между размерами рассказов Аристотеля бесспорна. Но объясняется она отнюдь не всегда политическими симпатиями или антипатиями автора. В некоторых случаях Аристотель мог руководствоваться принципом экономии. Говорить после Фукидида о Перикле и Пелопоннесской войне было бы лишней тратой времени. Достаточно было сказать существенное, и это Аристотель делает, подчеркивая, что при Перикле государственный строй стал более демократичным (I, 27, 1). Что касается времени Солона, то в научном плане до Аристотеля оно не исследовалось никем, поэтому на нем надо было остановиться подробнее.

Диспропорция могла объясняться и другими научными соображениями, на которые обратил внимание А. И. Доватур: «Подробное изображение демократических порядков времени Клисфена, Эфиальта-Перикла, 411—404 гг. не было нужно неумолимому классификатору Аристотелю, так как эти порядки представляли собой лишь переходные ступени между недемократическим, но содержащим демократические элементы строем Солона и демократией IV в.

---

<sup>47</sup> Бузескул В. П. «Афинская полиция» Аристотеля как источник для истории государственного строя Афин до конца V в. Харьков, 1895, с. 133. В. П. Бузескул, С. А. Жебелев и многие другие исследователи полагали, что под «одним единственным мужем, давшим себя убедить в необходимости ввести «средний строй», подразумевался Солон (Политика Аристотеля. М., 1911, с. 182, прим. 2). Доватур на основании тщательного филологического и исторического анализа пришел к выводу, что Аристотель имел в виду не Солон или кого-нибудь другого деятеля прошлого, а своего современника Александра (Доватур А. И. Указ. соч., с. 28—50).

и были лишены специфической физиономии, свойственной как первому, так и второй»<sup>48</sup>.

В новое время Аристотель не избежал обвинения, что, характеризуя половинчатость и нерешительность Солона, он основывался на собственной политической теории и выражал идеал средних кругов своего времени. Однако у нас нет основания сомневаться в объективности Аристотеля и правильности его умозаключений. Политические элгии Солона достаточно убедительно рисуют его реформатором, а не радикальным социальным революционером. В этом же духе его характеризует и историческая традиция, использованная Плутархом.

Часть труда, посвященная Солону, иллюстрирует ту манеру повествования, тот стиль, который Полибий впоследствии назвал аподиктическим, т. е. доказательным, аргументированным, научным. Аристотель более, чем какой-либо другой античный историк до Полибия, способствовал созданию этого стиля. Он включает разбор источников, не сводящийся, однако, к сухому аргументированному выяснению причин событий и факторов исторического процесса. Этот стиль допускает более подробное изложение одних моментов, которые автор признает наиболее существенными, и краткий рассказ о менее значительном или лучше известном. Он вовсе не исключает упоминания подробностей и даже красочных деталей, характеризующих обстановку и действующих лиц. Это отнюдь не стиль беглого делового рассказа, как его характеризует А. И. Доватур<sup>49</sup>.

«Политика» Аристотеля, к рассмотрению которой мы переходим, была необычным видом исторического труда. Опираясь на огромный фактический материал, автор дает теоретическое обобщение истории как закономерного процесса, не зависящего от воли богов. Это история, т. е. исследование в прямом и высшем смысле этого слова. «Политика» важна также и потому, что она позволяет установить социально-политические взгляды историка<sup>50</sup>.

Аристотель начинает свой труд с определения государства — полиса. Полис он рассматривает как некую общность, объединение, притом наивысшее. Всякое объедине-

---

<sup>48</sup> Доватур А. И. Политика и политии Аристотеля, с. 190—191.

<sup>49</sup> Там же, с. 327.

<sup>50</sup> Анализ «Политики» как источника социально-политических взглядов Аристотеля см.: Александров Г. Ф. Аристотель. М., 1940; Кечекьян С. Ф. Учение Аристотеля о государстве и праве. М.—Л., 1947; Бергер А. К. Указ. соч., с. 65—137.

ние направлено к какому-нибудь благу, а наивысшее объединение направлено к наивысшему благу (I, 1, 1252 а 12).

От такого общего определения государства и его целей Аристотель переходит к анализу составных частей государства, его первичных единиц, вернее первичных объединений (*oikia*). Эти объединения — мужчина и женщина, господин и раб. Отношения в каждом из этих объединений строятся по принципу господства одного сочлена над другим. В первом случае цель соединения — деторождение, т. е. стремление оставить себе подобных, во втором — спасение, самосохранение. Из этих двух форм объединения — мужа и жены, господина и раба — образуется первый вид общения — семья. Объединение, состоящее из нескольких семей, составляет селение. Селение рассматривается как разросшаяся семья. Объединение, вполне завершенное, состоящее из нескольких селений, — государство.

Государство, таким образом, рассматривается как нечто соответствующее самой природе человека, заложенного в ней стремления к объединению. «Человек по природе своей существо политическое», т. е. причастное к государственной жизни более, чем другие животные, живущие стадами. Это видно из того, что только человек обладает речью, способной не только передавать простейшие ощущения, но и такие понятия, как добро и зло, справедливость, несправедливость (I, 9, 1253 с 17).

От этих общих положений Аристотель возвращается к семье и ее составляющим — мужчина — женщина, господин — раб. Отношения в этой паре строятся на господстве и подчинении, но подчинение жены мужу носит совсем иной характер, чем подчинение раба господину, ибо в совершенной семье два элемента — рабы и свободные (I, 2, 1253 а 16).

Рабство одних и свободу других Аристотель считает универсальным законом самой природы: «Некоторые существа различаются в том отношении, что одни из них как бы предназначены к подчинению, другие к властвованию»<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Подробнее об отношении Аристотеля к рабству см.: Валлон А. История рабства в античном мире. М., 1941, с. 165—177; Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1976, с. 639 и сл.; Шишова И. А. Воззрения древних греков на порабощение эллинов.— В кн.: Рабство на периферии античного мира. Л., 1968.

Аристотелю известно иное мнение, согласно которому господство человека над человеком противоречит законам природы, противоестественно. Он это мнение решительно отвергает, считая подчинение раба господину естественным состоянием. Раб — это не в полной мере человек, хотя он обладает не только человекоподобным обликом, но и душой.

«Природа устроила так, что и физическая организация свободных отличается от физической организации рабов. У рабов тело мощное, приспособленное для необходимого физического труда, свободные же держатся прямо и непригодны для выполнения подобного рода работ, зато они пригодны для политической жизни» (I, 5, 1254 а 18).

Раб — это собственность, обладающая душой, а рабство необходимый институт, пока общество не обладает иной возможностью обеспечить свободное состояние всех без изъятия: «Если бы ткацкие станки сами ткали, а плектры бы сами играли на кифаре, то тогда бы и зодчие при сооружении дома не нуждались бы в рабочих, а господам не нужны были рабы» (I, 2, 1253 в 14). Аристотель, таким образом, предусматривает возможность такого строя, когда рабство станет невыгодным.

При рассмотрении рабства Аристотель, как он указывает сам, исходит не только из теоретических выкладок, но из фактических данных (I, 5, 1254 а 17). Теория рабства полемически заострена против Платона, не учитывавшего в своей идеальной конструкции рабства как основополагающего фактора государственной жизни.

Владение рабами служит для Аристотеля отправным пунктом для исследования проблемы собственности в целом. Аристотель полагает, что собственность — это биологический институт, без которого немислимо само существование живого существа, будь это растение, червь, млекопитающее или человек (I, 3, 1256 а 18), а приобретение собственности — универсальный способ жизнедеятельности человека. Аристотель различает несколько видов приобретения собственности, сопоставляя их с различными путями добывания пищи животными — скотоводство, охота, земледелие. От этих производительных путей приобретения собственности Аристотель отличал торговлю.

Анализ Аристотелем торговли выявляет его отношение к характерному для IV в. до н. э. росту денежных состояний и разорению мелких производителей. Аристотель считал естественной меновую торговлю, как восполняющую

то, что недостает для удовлетворения насущных потребностей, так же, как использование денег в качестве средства, облегчающего обмен (I, 3, 1256 b 32—33). Однако он осуждал стремление афинских богачей к наживе, выступая против ростовщичества и широкого размаха торговли. Истинное богатство состоит, по Аристотелю, из потребительских ценностей, из совокупности полезных вещей, ложное—из денежных накоплений (I, 4, 1258 b—g 29). Эти суждения Аристотеля широко используются учеными нового времени при решении характера экономических отношений древности. Для нас же они важны, поскольку раскрывают сущность теории Аристотеля о государстве, его учения о замкнутости, автаркии полиса<sup>52</sup>. Аристотель осуждал ростовщичество и обогащение ради обогащения не из-за того, что сочувствовал разоряемым крестьянам и ремесленникам, а потому что ростовщичество и бессмысленное обогащение разрушали полис как основу общегреческой жизни.

Наибольшее влияние на развитие исторической мысли античного (да и не только античного!) мира оказала сформулированная Аристотелем теория политических форм. В основе ее лежит анализ исторически существовавших и постоянно менявшихся государственных устройств всех государств древности, а не только тех 158, которые были предметом специального исследования Аристотеля и его учеников. Форма государства — политейя — рассматривается как система, определяющая не только характер верховной власти и государственных учреждений, но и все стороны экономической и духовной жизни граждан.

Аристотель делит государственные формы на правильные (монархия, аристократия, полития) и извращенные (тирания, олигархия, демократия). Монархия противопоставляется тирании, аристократия — олигархии, полития — демократии. Каждая из этих форм подвергается тщательному анализу с целью выявления ее особенностей по сравнению с другими формами и специфическими видами. Аристотель, опираясь на анализ царской власти у разных народов и в разные исторические эпохи, выявляет пять ее разновидностей: 1) царская власть героических времен, основанная на добровольном подчинении ей граждан, когда царь был военным предводителем, судьей и заведовал религиозным культом; 2) царская власть у варваров. на-

---

<sup>52</sup> Бергер А. К. Указ. соч., с. 90 и др.

следственная и деспотическая по закону; 3) выборная тирания; 4) царская власть в Спарте, представляющая собою наследственную и пожизненную стратегию; 5) неограниченная монархия.

Исходным критерием для определения наилучшего государства Аристотелю служит степень участия граждан в управлении государством, определяющая место данного государства среди других. Здесь очень ярко проявляется политическое мировоззрение Аристотеля. Наиболее совершенным Аристотель признает государственное устройство Спарты, Крита, Карфагена. Эти государства обладают правильным строем, поскольку их граждане свободны от забот о предметах первой необходимости. Эти заботы входят в обязанности илотов, периэков, рабов, которые — Аристотель отдает себе в этом отчет — представляют постоянную угрозу гражданам. Метод обращения спартанцев с илотами кажется Аристотелю не наилучшим. Аристотель находит и другой недостаток государственного устройства Спарты — гегемонию женщин, фактически захвативших ряд отраслей государственного управления и обладавших богатством, позволявшим им управлять мужчинами. Аристотель указывает также на недостатки эфората — учреждения, пополняемого из среды всего гражданства. А это приводит, по мнению Аристотеля, к неизбежному подкупу. Кроме того, эфоры ведут слишком свободный образ жизни, не соответствующий тем строгим требованиям, какие предъявляются к остальным гражданам. Не удовлетворяет Аристотеля и герусия, состоящая из пожизненно избираемых геронтов. Аристотель замечает при этом, что у рассудка бывает своя старость (II, 6, 1270 а 2). Геронты доступны подкупу и часто государственные интересы приносят в жертву личным выгодам. В дурном положении, по мнению Аристотеля, находятся государственные финансы в Спарте. Таким образом, хороша сама идея государственного строя Спарты, освобождавшего граждан от забот о пропитании и позволявшего им всецело отдаться политической деятельности. Конкретная же форма государства Спарты во времена Аристотеля вовсе не считается идеальной.

К спартанскому государственному устройству, по мнению Аристотеля, близко более древнее, восходящее ко временам царя Миноса государственное устройство Крита. Спартанцы и их законодатель Ликург не были творцами своего государственного строя. Они заимствовали его у

критян. Сходство между критскими и лакедемонскими порядками в следующем: для спартиатов землю обрабатывают илоты, для критян — периэки. У спартанцев и критян существуют сисситии. Спартанские эфоры соответствуют критским космам, а геронты — критским геронтам (II, 7, 1270 а 22).

Давая характеристику государственного строя Карфагена, Аристотель присоединяется к мнению тех, кто считает этот строй прекрасным: «Доказательством этого служит уже то, что сам народ в Карфагене стоит за существующие порядки организации и что там не происходило мало-мальски значительных междоусобий, равно как не возникало и тирании» (II, 7, 1272 в 18). Аристотель отмечает ряд преимуществ карфагенского строя перед спартанским при всем их сходстве. Карфагенские цари не должны были непременно избираться из одного рода, как в Спарте, коллегия ста четырех в Карфагене избиралась из лиц благородного происхождения, а соответствующая ей в Спарте коллегия эфоров — из первых попавшихся. Аристотелю не нравится в Карфагене то, что государственные должности там покупаются за деньги. Идеальным с точки зрения Аристотеля является тот строй, где и люди, стоящие у власти, и должностные лица живут в достатке за счет не других граждан, а рабов, где граждане не занимаются торговлей и другими низкими занятиями, где они имеют досуг.

Критика теоретического построения Платона в его «Государстве» и «Законах» занимает половину содержания всей книги. Аристотель начинает с самого уязвимого пункта плана Платона — с общности жен и детей<sup>53</sup>. Тот порядок, по которому каждый владеет своей женой, Аристотель считает не только лучшим, но единственно отвечающим сущности государства, складывающегося из отдельных семей. Аристотель считает невозможным скрыть родственные отношения между отцами и детьми в силу естественного сходства, появляющегося и у людей, и у животных. Введение общности жен и детей привело бы к ряду неприятностей, не последнее место среди которых должна занять половая близость между кровными родственниками (II, 1, 1262 а 16).

Общность имущества Аристотель считает возможной,

<sup>53</sup> Здесь Аристотель не оригинален. Именно этот пункт социальной утопии развенчивается Аристофаном в его комедии «Женщины в народном собрании» — 392 г. до н. э.

во всяком случае, частично. Обоснованием в этом ему служит общее пользование спартамцами рабами так же, как лошадьми и собаками (II, 2, 1263 b 29). Но симпатии Аристотеля целиком на стороне частной собственности, освященной человеческой природой. Трудно, по мнению философа, выразить то удовольствие (*hedone*), какое испытывает человек, считая что-либо своей собственностью — это заложено в нас самой природой, как любовь к самому себе.

Все неудобства проекта Платона, — считает Аристотель, — выявились бы, если бы его стали претворять в жизнь. Тогда бы оказалось, что единственным крупным законодательным нововведением было бы освобождение стражей от занятия земледелием — но это уже на практике проводят спартамцы (II, 2, 1263 b 36—1264 a 10). План Платона оказывается и неоригинальным и неосуществимым и общественно вредным в одно и то же время.

Аристотель критически относится и к проекту переустройства государства, предложенному в середине V в. Гипподамом Милетским (II, 5, 1267 a 25—1268 b 27). У нас нет оснований вслед за А. К. Бергером считать, что в критике Аристотелем Гипподама проявляется его ненависть к афинской демократии. Прежде всего, Гипподам не имел никакого отношения к «афинской интеллигенции», к которой его причислил А. К. Бергер. Предложение Гипподама о делении территории государства на три части — священную, общественную и частную предполагает скорее малоазийские, чем афинские условия. Об этом же говорит и предложение о создании верховного святилища. Критикуя предложение Гипподама о государственной поддержке общественно полезных изобретений, Аристотель подчеркивает, что в нем нет ничего нового, «так как такого рода закон и в настоящее время существует и в Афинах и в других государствах (II, 5, 1268 b 24—25). Критика проекта Гипподама, на наш взгляд, связана не с антидемократизмом Аристотеля (его не следует преувеличивать), а с тем, что план Гипподама, будучи проведен в жизнь, положил бы конец автаркии полиса.

Рассматривая государство как биологический организм, Аристотель, естественно, должен был изучить и вопрос о его жизнестойкости, сопротивляемости внутренним разлагающим процессам. В этой связи он ставит задачу выяснить, «вследствие каких причин происходят государственные перевороты и какого они бывают характера,

какие элементы разрушения заключает в себе каждая из форм государственного строя, какая из этих форм в какую переходит (после совершившегося переворота); какими средствами самосохранения обладает каждая форма государственного строя вообще и, наконец, что служит по преимуществу для сохранения каждой формы (в ее первоначальном виде) (V, 1, 1301 а 19).

Выполняя эту программу исследования, Аристотель опирался на многочисленные факты государственных переворотов или попыток их как в греческих, так и в негреческих государствах (из последних, например, в Карфагене, Персии, Понтийском царстве). Общей причиной переворотов во всех государствах Аристотель считает лежащее в их основе неравенство между свободнорожденными гражданами. Неравенство между свободными и рабами в расчет не принимается, что само по себе говорит о месте рабов в античном государстве. В истории греческих и негреческих государств Аристотель не находил фактов вооруженного выступления рабов в защиту своих интересов или не считал, что захват власти рабами может привести к созданию государства неизвестного ранее типа.

Неравенство как причину переворотов Аристотель понимает достаточно широко. Это неравенство больших групп населения, не получающих своей доли в государственном управлении, неравенство в положении отдельных граждан, считающих себя обойденными и стремящихся к перевороту. Неравенство это причина переворотов во всех государственных формах — демократии, аристократии, монархии, но в каждой из них оно приобретает особый, присущий этой форме характер. То, что в демократическом государстве не играет никакой роли, в аристократическом (олигархическом) или в монархическом становится источником недовольства и ведет к изменению государственного строя. Наряду с внутренними причинами переворотов Аристотель изучает и внешние — когда одно государство военной силой свергает невыгодный ему политический строй в другом государстве и устанавливает свой, аналогичный своему.

Наряду с причинами переворотов Аристотель рассматривает поводы к ним, обстоятельства, способствующие или, наоборот, препятствующие изменению государственного устройства, а также мотивы лиц, стремящихся к перевороту. Все это образует теорию государственных переворотов, которую Аристотель противопоставляет взглядам

Платона в соответствующей части его «Государства» (VIII и IX книги).

Подводя итог вкладу Аристотеля в практику и теорию историографии, мы должны отметить, что он был весьма значительным и дал толчок развитию научного исследования в области, которая являлась до того, за немногими исключениями, сферой приложения художественных талантов. Аристотель организовал сотрудничество ученых в области изучения политической истории и результатом этого сотрудничества явился коллективный научный труд. Он ввел в практику целый ряд новых концепций и методов исследования, благодаря которым получили объяснение многие стороны жизни человеческого общества. Среди них на первое место должна быть поставлена биологическая концепция эволюции. Важнейшим достижением Аристотеля был анализ государства, выявивший его классовую основу, а также установление эволюции политических форм. Не меньшее значение имела идея Аристотеля о развитии человеческого характера. Она сказывается на оценке роли личности Полибием, Посидонием, Саллюстием и на развитии биографического жанра.

\* \* \*

\*

Отвергая старую мифологию как систему мышления и мировоззрения, Платон старается заменить ее новой, научной. Но в этом он отходит от науки и становится на почву того же идеализма, но только не вульгарного, а учебного. И если старая мифология при всей примитивности своих основ все же имела в его время ту пользу, что донесла в фантастических образах реальный мир, мифология, создаваемая Платоном, была лишь искусно зашифрованной системой его собственных взглядов. Перенос действия научных идей во вневременное измерение, Платон выступал апологетом изощренного антиисторизма, родоначальником футурологии. Исторические категории у Платона теряют естественные связи и становятся материалом для экспериментирования, конструирования фантастических форм. Историческое бытие, воплощенное в идее, становится субъективным.

Для Аристотеля существует историческое бытие, воплощенное в органической материи. Его историзм биологичен

и в этом смысле органичен. Сводя жизнедеятельность сложных социальных организмов к простейшим системам и функциям, Аристотель упрощает исторический процесс, схематизирует его. Но схема опирается на реальные исторические факты. Лишенная идеальной красоты и возвышающей фантазии, она тем не менее основана на реальности. Для Аристотеля история — не опытное поле для приложения своих идей, а область для исследования. Она является наукой, разумеется, на ее античном уровне.

Отношение Аристотеля к истории определяет его отношение к мифу. Он не ставит своей целью соперничать со старой мифологией и обнаруживает в сказаниях о богах и героях ту же эволюцию, которая присуща природе. Он распространяет свой научный анализ и на эту область и обнаруживает в ней те же биологические законы рождения, роста, старения и умирания, ту же диалектику жизни. Она проявляется в развитии жанров, от эпоса к трагедии и от трагедии к эпосу. Бессмертие Гомера не в том, что его душа, теряя земную оболочку, соединяется с божеством, а в жизни, которую он дает новым формам.

Называя Платона идеалистом, а Аристотеля реалистом, мы не должны забывать, что утопические государства Платона являются порождением той же исторической реальности, законы которой Платон прозрел, а Аристотелю осталось проиллюстрировать историческими примерами. Кризис полиса, ставший в годы жизни Платона и Аристотеля злободневной реальностью, потребовал от мыслящих людей ответа на вопросы об его причинах и способах преодоления. В поисках исторических примеров и аналогий многие мыслители обращались к прошлому эллинской государственности. Платон конструирует идеальное государство, перенося его за девять тысяч лет в Атлантиду и Аттику. Он превозносит старые устои, законы и обычаи предков, *patrios politeia*, нисколько не заботясь о том, соответствует ли его картина реальному государству древности. Аристотель скрупулезно исследует реальные государства как систему, действующую по естественным законам.

Отношения Платона и Аристотеля выходят за рамки отношений учителя и ученика и в то же время ими определяются. Аристотель немислим без Платона. Только на почве универсальной системы объективного идеализма могла вырасти грандиозная научная философия, обращенная ко всем формам бытия. Аристотель — вечный ученик

Платона и его вечный оппонент. Из платоновской «Политики», конструкции идеального государства, выросла «Политика» Аристотеля как обобщение истории реально существовавших государств. Из школы философа, проповедующего антиисторизм в самой изощренной форме, вышел историк, равного которому не было в классической Греции.

## ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ. ПОЛИБИЙ

Крушение полисной системы и образование эллинистических государств было явлением, оказавшим всестороннее влияние на культуру и идеологию народов Средиземноморья и Переднего Востока. Не осталась в стороне от перемен и историография, во все времена античного мира тесно связанная с современностью и остро реагирующая на все новое в социально-экономическом и культурном развитии.

Созданная Александром Македонским держава, несмотря на свое недолговечие, сумела разрушить не только границы старых государств, но и рамки полисного мышления. Окончательно потеряла почву идея самодовлеющего развития города-государства вместе с сопутствующими ей планами разрешения социальных и политических проблем в рамках полисного коллектива. В процессе преодоления этнической, религиозной и общинной замкнутости все отчетливее вырисовывается классовая поляризация общества и обостряется классовая борьба<sup>1</sup>.

Греки и ранее сталкивались с народами передневосточной цивилизации в качестве воинов-наемников, колонистов или путешественников. Теперь они стали наследниками высокой культуры Востока и в известной мере ее продолжателями. Задача освоения духовных богатств Египта, Двуречья, Сирии была не только проявлением государственной мудрости глав эллинистических монархий, но и совершенно естественным результатом новых условий су-

<sup>1</sup> Ранович А. Б. Эллинизм и его историческая роль. М.—Л., 1950, с. 340.

ществования. Греки не только жили бок о бок с египтянами, халдеями, иудеями, но и сливались с ними, воспринимая их образ жизни и верования. С другой стороны, греческий язык становился не только языком государственных канцелярий, но постепенно завоевывал господствующее положение во всех сферах народной жизни.

Взаимному ознакомлению народов Востока и Запада способствовала грекоязычная историография, создаваемая людьми восточного происхождения. Вавилонянин Берос в начале III в. до н. э. написал «Историю Вавилонии» в трех книгах. Она начиналась со времен всемирного потопа и была доведена до завоеваний Александра Македонского. Иосиф Флавий, имевший возможность пользоваться этим ныне утраченным произведением, уверял, что Берос «обработал для греков сочинения халдеев по астрономии и философии» (С. Арр., I, 19). Судя по этому свидетельству и сохранившимся отрывкам, труд Бероса не напоминал царские хроники с их фактографическим изложением, а давал концепцию истории Двуречья в духе исторических трудов греков.

Жрец египетского города Гелиополя Манефон около 241 г. до н. э. по приказу Птолемея II составил историю Египта, предназначенную для ознакомления греческого населения с великим прошлым этой страны. По данным Иосифа Флавия, Манефон переложил на греческий язык свидетельства египетских священников книг (С. Арр., I, 14). Манефон был знаком с трудом Геродота и обличал его в искажении египетской старины. Современные исследователи, сопоставляя сохранившиеся отрывки «Египетской истории» Манефона с нероглическими текстами, пришли к выводу, что в распоряжении египетского историка для времени первых четырех династий были выписки из египетских анналов, для других династий, начиная с пятой,— списки царей, для конца Среднего и для Нового царства— литературно обработанные храмовые легенды и народные предания<sup>2</sup>.

О расширении исторического кругозора людей эллинистической эпохи свидетельствует появление «Истории Индии» в четырех книгах. Автором ее был Мегасфен, посол

<sup>2</sup> Helck W. Manethon.— In: Kleine Pauly. Stuttgart, 1969, Bd. III, col. 952—953. В. В. Струве считал Манефона «бесспорно, самым надежным руководителем в сложных вопросах хронологии Египта» (Струве В. В. Подлинный манефоновский список царей Египта и хронология Древнего царства.— ВДИ, 1946, 4, с. 25).

Селевка Никатора при дворе индийского царя Чандрагупты. Мегасфен красочно описал удивительную природу страны, ее животный и растительный мир, города, обычаи населения, охарактеризовал общественный и политический строй<sup>3</sup>. В отличие от Бероса и Манефона он не черпал свои сведения из оригинальных источников на языках страны. Помимо собственных наблюдений, в его распоряжении была информация брахманов, знатоков индийской жизни. Брахманы пересказали ему индийские легенды, разъяснили непонятные обычаи. Возможно, частично им можно приписать ту идеализацию индийских условий, которую мы обнаруживаем в произведении эллинистического историка.

Мегасфен писал для греческих читателей и поэтому старался подчеркнуть то, что отличало индийский образ жизни от греческого. В смысле этой установки делается понятным утверждение Мегасфена, что индийцы не пользовались рабами. Его можно принять лишь с оговоркой, что труд рабов имел в Индии иное применение, чем в греческих государствах. Подобной же оговорки требует суждение Мегасфена, что земля в Индии принадлежала царю.

В то же время Мегасфен не избежал присущей Геродоту и другим греческим историкам тенденции эллинизировать быт и религию восточных народов. Так, сходство в оргиастических культах греков и индийцев наводит его на мысль, что в отдаленную эпоху Дионис совершил поход в Индию и установил там свои божественные порядки (FHG, II, fr, 23). Чтобы придать этой фантастической идее видимость реальности, он вложил ее в уста индийских брахманов, так же как Платон делает египетского жреца информатором утопии об Атлантиде.

Наряду с Востоком в поле зрения эллинистических историков находится и средиземноморский Запад. Геродота интересовали греческие колонисты Запада и их противники тиррены и карфагеняне. Фукидид кратко характеризует этническую историю догреческой Сицилии. Им даже неизвестно существование Рима, хотя в V в. до н. э. он был уже значительным городом. Гиероним из Кардии, Тимей, Ликофрон посвящают Риму значительные части своих трудов, а Диокл из Пепарефоса был первым исто-

---

<sup>3</sup> Обзор содержания «Индики» см.: Diod., II, 35—42. Фрагменты труда собраны в: FHG, II, p. 397—439.

риком, посвятившим основанию Рима специальное сочинение.

С самого своего зарождения история как отрасль знания включала в себя не только целенаправленное изучение деятельности человеческого коллектива, но и исследование той природной среды, в которой она протекала. Уже в труде Гекатея история неотделима от географии. Завоевания Александра Македонского неизмеримо расширили представления историков о размерах ойкумены и разнообразии ее природы, животного и растительного миров. В трудах эллинистических историков география занимает большее место, чем у их предшественников.

Агафархид из Книда (II в. до н. э.) известен как автор трудов «История Азии» в десяти книгах и «Истории Европы» в сорока девяти книгах. Опираясь на сведения путешественников и торговцев, он дает описание верховьев Нила. Разливы этой великой реки он правильно объясняет таянием снегов в горах Эфиопии (FHG III, fr. 15). Агафархид описывает особенности природы Ливии, Кавказа, Скифии и Индии (FHG III fr. 8, 15, 20). Агафархиду принадлежит особое сочинение «О Красном море», обширные выдержки из которого сохранились в «Библиотеке» византийского писателя Фотия (FGG. N., 2 С 151 sqq). Здесь мы находим не только основанную на точных наблюдениях характеристику природных условий стран, окружавших Красное море, но и описание суровой жизни местного населения.

Посидоний из Апамеи (около 135—51 гг. до н. э.) был одинаково знаменит как историк и как географ. Его труд «Об Океане» — результат путешествия к берегам Атлантики и тщательного исследования приливов и отливов. Посидоний пытался перебросить мостик от описания земли к ее истории. Возникновение островов и проливов он объясняет колебаниями почвы, опусканием или подниманием отдельных ее участков. Это было модификацией выработанной Платоном теории катастроф.

История во все времена обогащалась естественными и точными науками. Но никогда еще связь между естествознанием и историей не была такой плодотворной, как в эпоху эллинизма. Именно в этот период стало давать плоды на почве истории грандиозное обобщение естественнонаучных фактов, осуществленное школой Аристотеля. В сочинении «Жизнь Греции» Дикеарх из Мессины (III в. до н. э.) применил концепцию биологической эволюции Арис-

тотеля к сфере человеческой культуры. Дикеарх считал, что первые люди жили тем, что земля дает добровольно и без насилия. Затем ими было изобретено оружие, с помощью которого стало возможным убивать крупных животных и одеваться в их шкуры. Далее были одомашнены некоторые животные и появилось скотоводство. Потом было открыто земледелие, произошла дифференциация различных функций и было создано то, что мы называем культурой (Wehrli, fr. 48). Дикеарх, таким образом, устанавливает три ступени в истории человечества — первобытную, пастушескую, земледельческую. Первобытная ступень является, с его точки зрения, наилучшей: «Среди них не было войн, ни смут, ни публичных наград, достойных похвалы, ради которых кто-нибудь пошел бы на малейший раздор. Главным в жизни считался досуг и свобода от всякой необходимости, здоровье, мир и дружба» (Wehrli, fr. 49).

Сильное влияние на историографию эпохи эллинизма оказала стоическая философия, видевшая свою цель в разработке этического учения о месте человека в Космосе. Некоторые из стоиков рассматривали Космос как живое существо (zoon), взаимосвязанное во всех своих частях с помощью сопереживания (sympateia). Новая аксиоматика выработала необычное понимание причинности. Выяснение причинных связей стало рассматриваться как проикновение в сущность жизни, призванное объяснить то, что скрыто от поверхностного взгляда, в том числе соотношение между естественными и сверхъестественными явлениями (последние вовсе исключались из рассмотрения корифеями классической историографии).

Влиянию стоической философии можно приписать интерес эллинистических историков к положению угнетенных низов. Впервые появляются оценки рабов, пронизанные если не симпатией к ним, то во всяком случае состраданием.

Таков рассказ Агафархида о добыче золота в Египте, рисующий страшную картину работы мужчин, женщин, стариков, детей под ударами бичей и палящим солнцем<sup>4</sup>. В той же мере показательно описание Агафархидом жизни рабов, добывающих топаз на Змеином острове в Красном море. Во всех этих случаях рабство предстает в крайних проявлениях жестокости и бесчеловечности. Мысль о

---

<sup>4</sup> F. gr. H, fr. 36.

возможности установления справедливого общественного порядка развивается Агафархидом в рассказе о счастливой жизни пастухов где-то в степях Аравии. Решение социального вопроса переносится за пределы ойкумены, живущей по законам рабства. Рабству противопоставляется образ жизни примитивных народов.

Продолжателем линии Агафархида в трактовке рабства является другой историк эпохи эллинизма — Посидоний. Его критика рабства является одновременно критикой римского господства как распространения рабовладельческих отношений в самой жестокой форме. Описание Посидонием положения рабов в Сицилии характеризуется осуждением жестокости рабовладельцев. В то же время Посидоний не одобряет и того способа устранения несправедливости, который избрали рабы. Показывая разумность поведения восставших и их гуманность к тем, кто ранее был к ним справедлив, Посидоний в то же время рисует далеко не привлекательный образ предводителя рабов Евна, воспользовавшегося восстанием в личных целях и ставшего отвратительным деспотом.

С распадом полиса в эллинистической литературе и искусстве углубляется интерес к переживаниям индивидуума. Это находит выражение в развитии жанрового искусства, портретной скульптуры, бытовой комедии и мимиамба. Соответственным образом и в историографии повышается интерес к человеку, что однако не означает потери вкуса к проблемам широкого звучания. В описании личности историки ставят художественные и психологические задачи, стремясь показать сложность человеческой природы, противоречивость человеческих чувств и страстей.

В историографии формируется особый биографический жанр. Его развивают прежде всего историки из школы Аристотеля: Дикеарх, Аристоксен, Фаний, Клеарх. Внося присущую перипатетикам страсть к систематизации, они создают циклы биографий по профессиям. Наряду с жизнеописаниями грамматиков появляются биографии знаменитых гетер. Корифеи биографического жанра стремились показать эволюцию характера, выявить обстоятельства, способствовавшие формированию тех или иных его черт. Это была своего рода психоанатомия, призванная объяснить причины возвышения или падения личности, ее трагедию. При такой постановке задачи обращение к индивидуальному не было отходом от исторической науки. Не-

понимание связи личности с социальной средой и исторической эпохой не является специфическим недостатком биографического жанра. Оно присуще античной историографии в целом. Все это не дает оснований отказывать продолжателю эллинистической биографии Плутарху в звании историка, хотя он сам себя таковым и не считал<sup>5</sup>. Аристотель, как мы помним, также ставил поэзию выше истории, что не помешало ему внести в теорию и практику историографии значительный вклад.

\* \* \*

Особенности эллинистической историографии лучше всего могут быть выявлены с помощью анализа «Всеобщей истории» Полибия. Это обусловлено не только достоинствами этого труда, но и тем, что это единственное дошедшее до нас в сравнительно полном виде произведение историка эллинистической эпохи. Более того, о многих из его предшественников мы можем судить по критическим замечаниям, рассыпанным по «Всеобщей истории».

Если поставить вопрос, в чем коренное отличие труда Полибия от произведений историков классической эпохи, среди которых имеются такие имена, как Фукидид и Аристотель, то приходится отметить, что ни один из этих авторов, давших прекрасные образцы сочинений на исторические темы, не ставил своей целью сформулировать, каковы задачи истории как науки. Полибий выступает как теоретик истории<sup>6</sup>.

Некоторые историки эллинистической эпохи в ущерб серьезному исследованию причин военных конфликтов стремились возбудить эмоции читателей. Они описывали жестокость завоевателей, убивающих малолетних детей, рыдания женщин, уводимых в рабство. Полибий называет такой стиль исторических трудов «трагическим» и резко выступает против него. «Цели истории и трагедии не одинаковы, скорее противоположны... От истории требуется дать любознательным людям непреходящие уроки и наставле-

<sup>5</sup> С. С. Аверинцев, на наш взгляд, неправильно истолковывает эту авторскую декларацию (см. Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография. М., 1973, с. 128).

<sup>6</sup> P é d e c h P. La méthode historique de Polybe. P., 1964.

ния правдивой записью деяний и речей. Тогда как для писателя трагедий главное — создать у зрителей иллюзию посредством похожего на правду, хотя и вымышленного изображения, для историков главное — принести пользу любознательному читателю правдой повествования» (II, 56, 11—12) <sup>7</sup>.

Столь же решительно Полибий выступает против превращения исторического повествования в напыщенную, но бессодержательную риторичку. Разница между историей и хвалебным красноречием так же велика, как между видами местности и театральной декорацией (XII, 28а, 1). Общим для истории и риторики является использование обеими речей, но в первом случае должно говорить о воспроизведении речей действительно произнесенных или таких, какие обычно произносятся в соответствующих ситуациях, а во втором — о красноречии как таковом. Изобретение речей и нагромождение в них всего, что может быть сказано о данном предмете, «противно истине, ребячески глупо и прилично разве лишь школяру» (XII, 25, i, 5). Главный критерий, отличающий историю от ее сестер — трагедии и риторики, — это правдивость.

Для Полибия, ахейского аристократа и свидетеля пагубной, с его точки зрения, социальной и политической анархии в Элладе, римское владычество не только неотвратимое, но и благодетельное явление, в чем он стремится убедить своих читателей. Но он не закрывает глаза на факты жестокости и произвола, чтобы показать самим победителям вред неумеренного пользования властью. Судьба Марка Регула, одного из безжалостных завоевателей, попавшего в плен к побежденным и испытавшего на себе их участь, служит наглядным уроком (I, 35, 3). Сила подобных примеров в том, что они способствуют исправлению людей, воспитывая их на чужих несчастьях.

Для обозначения своего труда Полибий пользуется термином *pragmateia* (I, 35, 9; III, 47, 8; VI, 5, 2 и др.), пе-

---

<sup>7</sup> В зарубежной науке разгорелась дискуссия о времени и обстоятельствах возникновения «трагической» истории. Эд. Шварц связывал возникновение «трагической» истории с учением Аристотеля о различии трагедии и истории (Schwartz E d.—Hermes, 1897, S. 560 sqq; 1900, S. 107 sqq). Б. Ульман возводил это направление к школе Исократы (Ullmann В. L.—TAPh, 1942, p. 25 sqq). К. фон Фритц выступает в защиту тезиса Эд. Шварца (Fritz K. Op. cit., p. 118). На самом деле, Полибий выступает не против какого-либо направления в историографии III—II вв. до н. э., а против смешения научного и художественного жанра.

рenessя на деятельность историка понятие, употреблявшееся в философской литературе IV в. до н. э. Смысл термина *pragmateia* может быть понят лишь в контексте всего труда и, прежде всего, из противопоставления самим Полибием *pragmateia* двум другим видам истории — генеалогической и истории, посвященной переселению народов, основанию городов и выведению колоний (IX, 2, 1). Под генеалогической историей понимались изложения мифов типа сочинений Гелланика о Троянской войне или Девкалионовом потопе. История, трактовавшая переселение народов, основание городов и выведение колоний, примыкала к генеалогической истории, но имела дело не с мифами о богах и героях, а со сказаниями об этногенезе и начале государственности, но также относящимися к отдаленной эпохе. Из этого противопоставления ясно, что «прагматейя» не обозначает метода Полибия, как это считал М. Гельцер<sup>8</sup>, и не имеет специального значения «политическая история», «государственная история», «история действительных событий», «правдивая история», как этот термин переводил Ф. Г. Мищенко<sup>9</sup>. Прагматейя, которую лучше всего оставлять без перевода — прагматическая история — употребляется Полибием в значении «современная история», т. е. история, повествующая не о далеких временах, а о современности и обращенная не к потомкам, а к современникам.

Отсюда понимание Полибием смысла занятия историей, ее характера, ее значения. Отличительная черта современной истории, с точки зрения Полибия, — универсализм. «Особенность нашей истории и достойная удивления черта нашего времени состоит в следующем: почти все события мира судьба направила насильственно в одну сторону и подчинила их одной и той же цели. Согласно с этим и нам подобает представить читателям в едином обозрении те пути, какими судьба осуществила великое дело» (I, 4, 1). Главное преимущество всеобщей истории заключается, с точки зрения Полибия, в том, что только она позволяет понять общий и закономерный ход событий и зависи-

---

<sup>8</sup> Gelzer M. Die pragmatische Geschichtsschreibung des Polybios.— Festschrift für Karl Weicker. Berlin, 1955, S. 87 sqq.

<sup>9</sup> См. Полибий. Всеобщая история в сорока книгах. Пер. с греч. Ф. Г. Мищенко. М., 1890. I, 2, 8; I, 35, 9 — правдивая история; XII, 25e, I; XII, 27a, I; XXXIX, 12, 4 — политическая история; IX, 2, 4; XXXVI, 17, I; XXXVII, 9, 1 — государственная история; III, 47, 8 — история действительных событий.

мость одного события от другого. Всеобщая история позволяет, в частности, уяснить, что антиохова война зародилась из филипповой, филиппова из ганнибаловой, ганнибалова из сицилийской, что промежуточные события при всей их многочисленности и всем их разнообразии в своей совокупности ведут к одной и той же цели (III, 32; ср. VIII, 4, 2).

Ставя универсализм своего труда в связь с особенностями эпохи, приведшей все происходящие в разное время и в разных странах события к единому знаменателю, Полибий тем самым отделяет себя от предшественников, многие из которых уверяли читателей о намерении выйти за хронологические и территориальные рамки истории одного народа. Лишь Эфор был писателем, создавшим опыт всеобщей истории. Остальные, по мнению Полибия, выдавали за всеобщую историю изложение судеб двух народов, например, римлян и карфагенян, забывая о событиях, происходивших в Иберии, Ливии, Сицилии, Италии, или просто сводили рассказ к хронике международных событий (V, 33, 1—7).

Таким образом, под прагматической историей Полибий понимает не просто труд с широким охватом событий, но и произведение, выявляющее временные и причинные связи между ними. Во многих местах своего сочинения Полибий подчеркивает, что он считает главной задачей объяснить, как, когда и почему почти все части тогдашнего мира попали под римское господство (III, 1, 4). В другом случае он стремится узнать, как, когда и по какой причине римляне совершили поход в Сицилию (I, 5, 2). Эта же формула применяется им как средство анализа при выявлении эволюции государственного устройства: как, когда и почему данный режим начинает трансформироваться (VI, 4, 12). Нередко эта трехчленная формула встречается у него в усеченном виде: ахейцы достигли во всем Пеллопоннесе господства и добились преимуществ по сравнению с более многочисленными, богатыми и доблестными аркадянами и лакедемонянами. «Как и почему это произошло?» — спрашивает Полибий (II, 38, 4). Излагая преимущества легиона перед фалангой, он стремится ответить на вопросы, которые могут возникнуть: почему и каким образом фалангу одолел строй римлян (XVIII, 32, 13). Отмечая, что репутация Сципиона стала возрастать в Риме с немислимой быстротой, он выясняет, почему и как это произошло (XXXII, 9, 2). Во всех этих случаях не

требуется выявления временной связи. Она дается самой постановкой проблемы, заранее определенной временем совершающегося или совершившегося явления. Эти примеры, число которых можно было бы умножить, показывают, что главной задачей исторического исследования Полибий считает выяснение причинной связи.

«Я утверждаю, — заявляет Полибий, — что наиболее необходимые элементы истории — это выяснение следствий событий и обстоятельств, но особенно их причин» (III, 32, 6). Критикуя своих предшественников, Полибий отмечает сбивчивость их понятий о причинных связях: они не видят разницы между поводом (*prophasis*) и причиной (*aitia*), и также между началом (*arche*) и поводом (XXII, 8, 6). Развивая свою мысль, Полибий указывает, что «причина и повод занимают во всем первое место, а начало — лишь третье. Со своей стороны, началом всякого предприятия я называю первые шаги, ведущие к выполнению уже принятого решения, тогда как причины предшествуют решениям и планам: под ними я разумею помыслы, настроения, в связи с ними расчеты, наконец, все то, что приводит нас к определенному решению или замыслу» (III, 6, 6—7).

Это положение раскрывается на примере почти всех главных войн изучаемой Полибием эпохи. Осаду Ганнибалом Сагунта и переход карфагенянами Ибера он считает не причиной Второй Пунической войны, а ее началом (III, 6, 3). Также переход Александра через Геллеспонт — не причина войны с Персией, а ее начало (III, 6, 5). Причины войны коренятся в планах Филиппа II и в отношениях, сложившихся задолго до Александра. Равным образом высадку Антиоха в Димитриаде нельзя считать причиной Сирийской войны, поскольку этоляне еще до прибытия Антиоха вели войну с римлянами (III, 6, 4).

На первое место среди источников Полибий ставит наблюдения историка. При этом он ссылается на Гераклита, который учил, что зрение правдивее слуха, ибо глаза — более точные свидетели, чем уши (XII, 27, 1). Самый выбор того или иного предмета исторического исследования и его хронологических рамок Полибий обосновывает тем, что данные события совершались либо на его глазах, либо — на памяти отцов, также являвшихся очевидцами (IV, 2, 2). Перед глазами Полибия действительно прошли очень многие из описанных им событий. Он с юности участвовал в политической деятельности, вы-

полняя различные задания руководителей Ахейского союза, был начальником союзной ахейской конницы, принимал участие в войне против Антиоха IV Елифана (175—164 гг. до н. э.), затем против кельтиберов (151—150 гг. до н. э.), в осаде и разрушении Карфагена (149—146 гг. до н. э.), в разрушении Коринфа (146 г. до н. э.) и в осаде Нуманции (133 г. до н. э.), встречался с нумидийским царем Масиниссой. Кроме того, он совершил путешествие по Италии, Северной Африке, Галлии, Испании, Греции, плывал за Столпы Геракла в океан.

Уже предшественники Полибия пользовались путешествиями для своих географических и этнографических исследований. В этом отношении наиболее показательны примеры Гекатея и Геродота. Но, пожалуй, только Полибий попытался теоретически обосновать этот способ сбора информации. Путешествие, считал он, открывает возможности для непосредственного наблюдения и расспроса местных жителей. Изучение истории по книгам не может, по его мысли, заменить знакомства с местностями, где происходили события. Даже в том случае, когда историк-книжник обращается к собиранию известий, он обречен на грубые ошибки: «Да и в самом деле, невозможно ни задать настоящий вопрос о сухопутной и морской битве, ни понять все подробности рассказа, если не имеешь понятия об излагаемых предметах (XII, 28 а, 2—10).

Свою систему причинных связей Полибий применяет прежде всего для объяснения войн. Ко всем им в одинаковой мере прилагается единство из трех элементов — как (pos), когда (pote), почему (diati). Первый элемент включает анализ условий, которые вынуждали народ или царя браться за оружие. Он идет в двух направлениях: политическом, включающем намерения и планы враждующих сторон, и моральном, распространяющемся на разум руководящих личностей, на их представления об ответственности за конфликт. Все это в совокупности составляет «причину» (aitia). Исследование «повода» (prophasis) должно объяснить значение доводов, выставляемых воюющими сторонами. Сюда входит и аспект законности со ссылкой на право или мораль. Наконец, «начало» (arche) — это рассмотрение случайных причин войны, связанных с предшествующим анализом, и рассказ о конкретных событиях, определивших ход военных действий.

В своем объяснении Полибий, разумеется, стоит далеко от современной науки, изучающей социально-экономиче-

ские, политические и психологические условия происхождения войн. Он пытается выделить единственную, простую и очевидную причину в ряду условий, определяющих возникновение войны. В конечном счете все сводится к специфическим личным обстоятельствам. Так, Ганнибала Полибий называет «единственным виновником, ответственным за все то, что претерпевали и испытывали обе стороны, римляне и карфагеняне» в годы Второй Пунической войны (IX, 22). Аналогичную роль сыграл в Первой Македонской войне Филипп V. В войне с Антиохом ответственность за развязывание конфликта несли этолийцы, но за их общиной у Полибия стоят конкретные лица — Фоас, Демокрит. Между войной и мыслями о ней фактически нет разницы. Этиология (учение о причинах) состоит, по мнению Полибия, в том, чтобы понять, как замысел становится реальностью.

Объяснение событий в их закономерной связи, считает Полибий, зависит прежде всего от объема и качества материала, которым располагает историк. Отсюда его особое внимание к отбору источников об излагаемых предметах. Разъяснение дела зависит столько же от вопрошающего, сколько от рассказчика» (XII, 28а, 2—10). Находясь в Риме с 167 по 150 г. до н. э., Полибий смог получать информацию о событиях из первых рук. Его информаторами были греческие изгнанники, искавшие убежища в Риме, путешественники и, наконец, римляне, бывшие послами, военачальниками, сенаторами. Впечатляет уже самый перечень тех лиц, с которыми был знаком Полибий.

Большое место занимает в его труде документальный материал. Значение последнего осознавали и предшественники Полибия. Геродот и Фукидид нередко цитируют надписи и архивные документы. Эфор и Каллисфен также использовали документы (IV, 33, 2). Полемон, современник Полибия, изучал памятники архитектуры Афин, Спарты, сокровища Дельф, собирал надписи на статуях, колоннах и получил прозвище «отыскателя стел»<sup>10</sup>. Но критика достоверности источника носит у предшественников Полибия в значительной степени случайный характер. Ни Фукидид, ни Аристотель даже не указывают на происхождение договора или текста, который они цитируют. Это делает Тимей, впервые пытавшийся установить правила использования источников. Но и он допускает, с точ-

---

<sup>10</sup> Ath., VI, 234 d.

ки зрения Полибия, неточности: «Нельзя не удивляться, почему Тимей не называет нам ни города, в котором был найден этот документ, ни места, на котором начертанный договор находится, не называет и тех должностных лиц, которые показали ему документ и беседовали с ним; при наличии этих показаний все было бы ясно, и в случае сомнений каждый мог бы удостовериться на месте, раз известны местонахождение документа и город» (XII, 10, 5). Таким образом, задача историка — не просто основываться на документальном материале, но и давать читателю полное и точное представление об источнике своей информации.

В труде Полибия приводится множество оригинальных документов. Они могут быть разделены на три категории: договоры, постановления, письма. Полибию, как он свидетельствует об этом сам, были доступны тексты договоров, находившиеся в табулярии курульных эдилов на Капитолийском холме (III, 26, 1). Но не всегда представляется возможным выяснить, какими из договоров пользовался Полибий. В его труде упоминаются договор Рима с Карфагеном после Первой Пунической войны в нескольких редакциях (I, 62, 8—9; III, 27, 2—10), договор Рима с иллирийской царицей Тевтой (II, 12, 3), Ганнибала с Филиппом (VII, 9), Сципиона с Карфагеном (XV, 18), Рима с этолийцами (XXI, 32), Апамейский договор (XXI, 45), договор Фарнака с другими царями Малой Азии (XXV, 2), три договора Рима с Карфагеном, относящиеся ко времени до Пунических войн (III, 22—25). Кроме того, в не дошедшей до нас части труда Полибия содержались договоры Марка Аврелия Левина с этолийцами (212 г. до н. э.) и договор Рима со спартанским тираном Набисом, цитируемые Титом Ливием и Аппианом<sup>11</sup>. О том, что большинство этих договоров изучалось Полибием лично, говорят формулы официальных документов и тексты официальных договоров, приводимые им полностью. В отношении первого римско-карфагенского договора Полибий замечает, что он написан на архаическом языке, трудно понимаемом даже сведущими людьми (III, 22, 3). Видимо, поэтому, приводя содержание договора, Полибий считает нужным указать, что излагает его «приблизительно». Но такая же оговорка сделана им при введении в текст договора Лутация Катулла 241 г. до н. э. (I, 62, 8). Очевидно,

<sup>11</sup> Liv., XXVI, 24, 14; XXXVIII, 33, 9; App. Syr., XXXIX.

слово «приблизительно» означает, что документ излагается в сокращенной форме. Договор между карфагенянами и Филиппом V, текст которого приводит Полибий (VII, 9), наличествовал, очевидно, в римских архивах, так как македонское посольство, его подготовившее, было захвачено в плен римлянами<sup>12</sup>. Нетрудно понять, каким образом в распоряжении Полибия оказался текст договора Фарнака с малоазийскими царями: Рим выступал гарантом этого договора, и текст последнего был доставлен римскими представителями в сенат. С текстом Апамейского договоразнакомился после Полибия Аппиан в том же табулярии<sup>13</sup>.

Полибий отсылает читателя также к многочисленным документам, тексты которых находились в Греции: акту о прекращении междоусобия в Мегалополе, начертанному на столбе у жертвенника Гестии в Гамарии (V, 93, 10), декрету о принятии Спарты в Ахейский союз, написанному на столбе (XXIII, 18, 1), договору ахейцев с мессенянами (XXIV, 2, 3). Эти документы историк не имел перед своими глазами, так как писал свою историю в Риме.

Полибий излагает содержание писем Сципиона к Филиппу (X, 9, 3); братьев Сципионов к царю Вифинии Пруссии (XXI, 11), Сципионов к Эмилию Региллу и Эвмену (XXI, 8). В первом из писем, очевидно, написанном в 190 г. до н. э., Сципион вспоминает о своем походе в Иберию в 210 г. до н. э. Во втором письме братья Сципионы на исторических примерах убеждали вифинского царя не бояться римлян и смело переходить на их сторону. В последнем из названных посланий сообщалось о движении римских войск к Геллеспонту. Можно было бы думать, что Полибий заимствовал сообщение о письмах из «Истории» П. Корнелия Сципиона. Но так как известно, что восточный поход не входил в эту историю, ясно, что Полибий пользовался архивом дома Сципионов.

Часто говорят, что Полибий использовал ахейские архивы<sup>14</sup>. Этому утверждению противоречит краткость текста, касающегося ахейских дел. Единственная надпись, которую приводит Полибий, не идет в расчет: это извлече-

<sup>12</sup> Liv., XXIII, 34, 2—9; XXXIX, 1.

<sup>13</sup> App. Syr., XXXIX.

<sup>14</sup> Valeton J. De Polybii fontibus et auctoritate disputatio critica. Traiecti ad Rhenum, 1879, p. 206—213; Nissen H. Kritische Untersuchungen über die Quellen der vierten und fünften Dekade des Livius. Berlin, 1863, S. 106; Von Scala R. Die Studien des Polybios. Stuttgart, 1890, S. 268; Mioni E. Polibio. Padova, 1949, p. 123.

ние из Каллисфена об измене Аристомена (IV, 33, 3). Педек резонно замечает, что, работая над первой частью своего труда, Полибий не мог использовать ахейские архивы, они стали ему доступны лишь при написании второй части (книги XX—XL), так как он посетил Грецию после 146 года. Но фрагменты, сохранившиеся от этих книг, не позволяют судить об использовании архивов<sup>15</sup>.

Бесспорно использование Полибием родосских архивов. Об этом свидетельствует прежде всего то место, где он, возражая Зенону и Антисфену, ссылается на отчет родосского наварха о битве при Ладе, который хранился в помещении для высших должностных лиц (pritanéion) Родоса (XVI, 15, 8). Но, кроме того, можно извлечь из текста труда Полибия материал, восходящий к этим архивным данным. Согласно Ульриху, Полибий взял из родосских архивов, помимо официального отчета о битве при Ладе, документальные сведения о подарках, посланных родосцами жителям Синопы в 219 г. до н. э. (IV, 56, 2), перечень даров, полученных самими родосцами, пострадавшими от землетрясения, от силицийских тиранов (V, 88, 5, сравн. 89, 9), список кораблей, потерянных в битве при Хиосе (XVI, 7)<sup>16</sup>. Однако Педек полагает, что все эти данные Полибий почерпнул из исторических трудов Зенона и Антисфена, что же касается письма родосского наварха, то оно могло быть привезено в Рим родосцами по запросу Полибия<sup>17</sup>. Но и в этом случае возражения Педика неосновательны. Даже если письмо было привезено в Рим, оно являлось историческим и, если употреблять современную терминологию, архивным документом. Допуская присылку в Рим одного архивного документа, правомерно предположить, что таким же путем могли прийти и другие.

Рассмотрение документального материала в труде Полибия подводит нас к вопросу о цели, которую преследовал он, включая его в текст своего сочинения. Приводя подлинные документы, Полибий, бесспорно, стремился осуществить на деле сформулированное им самим требование: «История должна стать правдивой». Полибий пользуется текстами как средством, позволяющим преодолеть неточность и приблизительность в трудах предшествующих авторов. Возражая Филину, утверждавшему, что ка-

<sup>15</sup> Pédech P. Op. cit., p. 378.

<sup>16</sup> Ullrich H. De Polybii fontibus Rhodis. Lipsiae, 1898.

<sup>17</sup> Pédech P. Op. cit., p. 379.

кое-то соглашение оставляло Сицилию Карфагену, а Италию римлянам (III, 26, 4), он приводит три карфагенско-римских договора, из которых явствует, что Италия с давних пор была объектом карфагенской политики. Письмо из родосского пританея служит Полибию для опровержения мнения Зенона и Антисфена о победе родосцев. Ссылаясь на письмо Сципиона к Филиппу, он стремится доказать ошибочность взглядов тех историков, которые приписывали успех Сципиона вмешательству богов в судьбы. Документ позволяет Полибию быть точным в деталях. Полибий подчеркивает, например, что изучение перечня карфагенских войск на медной доске в Лакинии, составленного по приказу самого Ганнибала, позволило ему вдаваться в такие подробности, относительно которых другие историки могли лишь фантазировать (III, 33, 18).

Наряду с документами источником Полибия являются труды историков, касающиеся тех же событий, что и «Всеобщая история». Об этом свидетельствует частая полемика его с предшественниками, иногда с указанием, а порой и без указания имен. В ряде случаев можно предположить использование Полибием того или иного автора, хотя сам Полибий на него не ссылается. В III книге «Всеобщей истории» источником является произведение автора, хорошо осведомленного в делах карфагенян. По всей видимости, это Силен, участник похода Ганнибала в Италию.

В сочинении Полибия мы находим критический обзор трудов Тимея, Эфора, Феопомпа, Филина и ряда других историков. Главным недостатком своих предшественников он считает отсутствие у них практического государственного или военного опыта. «История, — заявляет Полибий, — будет тогда хороша, когда за составление исторических сочинений будут браться государственные деятели и будут работать не мимоходом, как теперь, а с твердым убеждением в величайшей настоятельности и важности своего начинания, когда они будут отдаваться ему всей душой до конца дней или же когда люди, принимающиеся за составление истории, сочтут обязательным подготовить себя жизненным опытом» (XII, 28, 4). Отсутствие специальных познаний в той или иной отрасли военного дела приводит к ошибкам даже у серьезных историков. Так, Эфор, живописующий с изумительным мастерством морские сражения, при описании сухопутных битв оказывается совершенным невеждой (XII, 25 f, 1—4). Ти-

мей, проживший полвека изгнанником в Афинах, не мог ознакомиться с сицилийским и италийским театрами политических событий и военных действий. Поэтому, когда он касается военных действий или описывает местности в этих районах, то допускает множество ошибок. По образному сравнению Полибия, даже в тех случаях, когда Тимей приближается к истине, «он напоминает живописцев, пишущих свои картины с набитых чучел. И у них иной раз верно передаются внешние очертания, но изображениям недостает жизненности, они не производят впечатления действительных животных, что в живописи главное» (XII, 25 h, 2—3).

От историка Полибий требует не только опытности в военном деле, но и конкретного знания экономического положения государств, судьбами которых он занимается. Подвергая критике Филарха, историка конца III в. до н. э., Полибий замечает: «В его утверждениях каждый прежде всего поражается непониманию и незнанию общеизвестных предметов — состояния и богатства эллинских государств, а историкам это должно быть известно прежде всего» (II, 62, 2). В соответствии с этим требованием сам Полибий постоянно обращает внимание на финансовое положение государств, систему сбора налогов, плодородие местности, запасы продовольствия, естественные богатства, дороговизну или дешевизну продуктов питания вплоть до указания их стоимости. Превращение Нумидии в плодородную и цветущую страну он считает важнейшим и чудеснейшим деянием Масиниссы (XXXVII, 10, 7). С богатством и бедностью Полибий связывает состояние нравов народов и успехи в развитии государственности. Так, мягкость нравов и раннее развитие государственности у турдитан, потомков тертессиев, он объясняет богатством Южной Испании (XXXIV, 9, 3), принятие законов Ликурга — бедностью Спарты, обходившейся «ежегодным сбором плодов» и железными деньгами (VI, 49). Богатство, согласно Полибию, ведет к порче нравов. Так, начало морального разложения римлян Полибий относит ко времени завоевания ими богатой Галлии (II, 21, 8). Страсть к обогащению рассматривается как причина гибели царей и политических деятелей (XXII, 11, 2; XXIX, 8—9).

Качество исторического труда зависит не только от полноты информации и тщательного отношения к ней, но и от подхода историка к своим задачам. Главным критерием хорошего историка, а соответственно и исторического

труда является его правдивость. С сочувствием приводятся слова Тимея, что самой крупной ошибкой в написании истории является неправда (*pseudos* — XII, 11, 8). С правдивостью историка Полибий связывает все другие достоинства истории, делающие ее воспитательницей и наставницей жизни: «В историческом сочинении правда должна господствовать надо всем: как живое существо делается ненужным, если его лишат зрения, так и история (потеряв правдивость) превращается в бесполезное разглагольствование» (I, 14, 6). На ряде отрицательных примеров из трудов своих предшественников Полибий вскрывает причины, заставляющие историка исказить истину. Прежде всего это стремление придать своему сочинению увлекательный характер, поразить читателя необычностью описываемых событий и ситуаций (VII, 7, 6). Наряду с этим к искажению истины приводят личные симпатии или антипатии историка (XVI, 14, 6; I, 14, 3). Наконец, неправда может быть обусловлена просто недостаточным знанием материала, неведением (XVI, 20, 7, 8; XXIX, 12, 9—12). Требование правдивости исторических сочинений Полибий связывает с общим прогрессом научного знания человечества и прежде всего с распространением письменности и закреплением памяти о случившемся в письменных источниках (XXXVIII, 6, 6—8).

Ни одна из сторон исторической концепции Полибия не вызывала в науке нового времени таких дискуссий, как место в ней «судьбы»<sup>18</sup>. Причиной споров служит тот совершенно несомненный факт, что «судьба» встречается в тексте Полибия в самых различных пониманиях. В одном из них — это историческая закономерность, которая определяет течение событий и направляет их к конечной цели. Она создает могущественные империи, но также и разрушает их. Римские завоевания — это осуществление плана, заранее установленного «судьбой». Отсюда задача историка — уразуметь, «каким образом и с помощью каких государственных учреждений (она) осуществила поразительнейшее в наше время и небывалое до сих пор дело, именно: все известные части обитаемой земли подчинила единой могущественной власти» (VIII, 4, 3—4). Ту же мысль выражают послы Антиоха III, убеждающие римлян пользоваться своим успехом умеренно и великодушно-

---

<sup>18</sup> В тексте «Всеобщей истории» судьба чаще всего обозначается словом *tyche*, реже — *automaton*.

но, «не столько для Антиоха, сколько для них же самих после того, как волей судьбы они получили господство над миром» (XXI, 16, 8). В ином значении «судьба» равнозначна божеству. Ее вмешательство проявляется в конкретных событиях Первой Пунической войны, во вторжении галлов, в конфликте между Филиппом V и Антиохом III, в крушении династии македонских царей, в гибели Персея, в восстании Лже-Филиппа, в коринфской войне (I, 56—58; II, 20, 7; XXIX, 27, 12). Во всех этих примерах она то играет роль арбитра в споре между людьми и государствами, то осуществляет высшую справедливость, карая неправедных и воздаявая злом как им самим, так и их потомкам.

С другой стороны, Полибий неоднократно и весьма резко критикует попытки объяснять любые события в истории общества или отдельной личности вмешательством божества, или «судьбы». Причиной уничтожения римского флота у берегов Сицилии, считает он, была вовсе не «судьба», а всего лишь непредусмотрительность начальников (I, 37, 1—10). Сципион Африканский обязан своим возвышением не божественному провидению, а умелому использованию суеверий толпы (X, 2). Полибий обрушивается на историков, которые «по природной ограниченности, или по невежеству, или, наконец, по легкомыслию не в состоянии постигнуть в каком-либо событии всех случайностей, причин и отношений, почитают богов и «судьбу» виновниками того, что достигнуто расчетом, проницательностью и предусмотрительностью» (X, 5, 8). Глупцами называет он тех, кто приписывает победу римлян над македонянами «судьбе», отказываясь от выяснения разницы в военном строе этих народов (XVIII, 28, 4, ср. XV, 34, 2).

Эту противоречивость в оценках роли «судьбы» у Полибия некоторые исследователи объясняют эволюцией его взглядов, а также тем, что его текст имел несколько редакций<sup>19</sup>. Против этой гипотезы прежде всего говорит место из заключительной части труда Полибия, где автор обобщает свои взгляды на «судьбу» и тем самым показывает наличие у него единой концепции: «В тех затруднительных случаях, когда по слабости человеческой нельзя или трудно распознать причину, ...можно отнести ее к божеству или судьбе: например, продолжительные, необы-

---

<sup>19</sup> Р. Лакер выделяет пять периодов творческой истории труда Полибия. (Laquer R. Polybius und seine Werk. Leipzig, 1913).

чайно обильные ливни и дожди, с другой стороны, жара и холода, вследствие их бесплодие, точно так же продолжительная чума и другие подобные действия, причины которых нелегко отыскать. Вот почему в такого рода затруднительных случаях мы не без основания примыкаем к верованиям народа, стараемся и молитвами и жертвами умоливать божество, посылаем спросить богов, что нам говорить и что делать для того, чтобы улучшить наше положение или устранить одолевающие нас бедствия. Напротив, не следует, мне кажется, привлекать божество к объяснению таких случаев, когда есть возможность разыскать, отчего или благодаря чему произошло случившееся. Я разумею, например, следующее: в наше время всю Элладу постигло бесплодие женщин и вообще убыль населения, так что города обезлюдели, пошли неурожай, хотя мы и не имели ни войн непрерывных, ни ужасов чумы. Итак, если бы кто посоветовал нам обратиться к богам с вопросом, какие речи или действия могут сделать город наш многолюднее и счастливее, то разве подобный советник не показался бы нам глупцом, ибо причина бедствия очевидна и устранение ее в нашей власти» (XXXVII, 9, 2—7)<sup>20</sup>.

Таким образом, в трактовке «судьбы» Полибий выделяет два рода явлений: во-первых, не познанные вследствие ограниченности знаний человека или его возможностей (ливни, жара, эпидемии) и, во-вторых, доступные познанию людей (обезлюдение Греции). Если применить этот критерий к другим частям его труда, то будет видно, как Полибий старается отделить группу явлений, доступных познанию историков (например, разницу в военном строе или политическом устройстве), от тех, в которых проявляет себя некая общая историческая закономерность и божественная справедливость. Их Полибий считает непознаваемыми. Таким образом, правильнее говорить не о противоречивости Полибия в оценках роли «судьбы», а о том, что он исходит из многоплановости ее проявлений и стремится установить определенные границы в употреблении этой категории. Он не сомневается, что «судьба» воплощает в себе историческую закономерность и божест-

---

<sup>20</sup> Далее Полибий указывает эту причину: «Люди испортились, стали тщеславны, не хотят заключать браков, а если женятся, то не хотят вскармливать прижитых детей, разве одного-двух из числа очень многих, чтобы оставить их богатыми и таким образом воспитать в роскоши. Отсюда-то в короткое время и выросло зло».

венную справедливость хотя бы по причине слабости человеческой природы, которая не позволяет ей предотвращать ливни или засуху. Но имеется сфера, где человек может развивать свою деятельность без оглядок на «судьбу». Это политика, в которой, согласно трактовке Полибия, проявляются высшие качества человека и возможности человеческого общества.

Эта же мысль повторяется и в посвященных теоретическим вопросам частях труда, где формулируются цели истории. Выяснение государственного устройства различных стран рассматривается как главная задача, а ее разрешение увязывается с ответом на главный вопрос: в чем причина побед Рима? (I, 1, 5; III, 2, 6; VI, 1, 3; XXXIX, 8, 7). О значении, которое автор придавал государственному устройству как историческому фактору, свидетельствует то, что он, нарушая связность повествования, посвящает Риму — государству-победителю — целиком шестую книгу. По мнению Полибия, лишь благодаря особому устройству своих учреждений и мудрости своих решений римляне после разгрома при Каннах не только добились победы над карфагенянами и восстановления своей власти над Италией, но и некоторое время спустя стали владыками всей ойкумены (III, 118, 7—10). Ахейцы, обладавшие меньшей территорией и богатством, чем другие народы Пелопоннеса, добились первенства также благодаря превосходству своего государственного устройства, основанного на принципах равенства и свободы (II, 38, 6—8). Конституция Ликурга и его законы, пригодные для внутренних дел Спарты, не были рассчитаны на господство этого государства над другими народами (VI, 48—49). Во время Первой Пунической войны Карфаген в отношении политического устройства не уступал Риму (I, 13, 12). Его политические учреждения были нерушимы, и конституция мудро поддерживала равновесие трех основных элементов — монархии, аристократии и демократии. Но во время Второй Пунической войны это равновесие нарушилось вследствие усиления демократического элемента, что и обеспечило победу римлянам, обладавшим лучшим государственным устройством (VI, 51).

Теоретической основой этих суждений о лучшем государственном устройстве служит учение Полибия о государстве, восходящее к Аристотелю<sup>21</sup>. В государстве исто-

<sup>21</sup> Fritz K. *The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity. A Critical Analysis of Polybios Political Thought*. N. Y., 1954.

рик видит не творение богов, а продукт естественного развития человеческого общежития от животного состояния к человеческому коллективу. На первой ступени господствовала грубая физическая сила: «Наподобие животных они (люди. — А. Н.) собирались вместе и покорялись наиболее отважным и мощным из своей среды» (VI, 5, 9). Отсюда ведет свое начало единовластие, которое Полибий отличает от царской формы правления, когда власть сохраняется не только за сильными и могущественными вождями, но и передается их потомкам. Этот наследственный принцип, обеспечивавший стабильность государственного развития, явился, по мнению Полибия, в то же время источником порчи первой формы правления и превращения ее в тиранию. На смену тирании приходит аристократия как власть народных вождей и борцов против тирании. Но и эта политическая форма в результате передачи власти по наследству от отцов к сыновьям вырождается в олигархию. Олигархия уступает место демократии, когда все заботы о государстве и охрана его принадлежат самому народу. Однако, как считает Полибий, ненасытная жажда власти и богатств разлагает и народное правление. Демократия разрушается и переходит в беззаконие и господство силы. Происходят изгнания, переделы земель, бесчинства, пока власть вновь не возвращается к единоличному правителю (VI, 7—9). Такова циклическая теория эволюции государственных форм, которую выдвигает Полибий. Превращение государственных форм в свою противоположность, по мысли Полибия, — процесс фатальный. Можно лишь задержать пагубные результаты порчи государственного механизма. Примером этого является конституция Ликурга, мудро установившего не простую и единообразную форму правления, а сложную, соединившую все преимущества наилучших форм правления и устранившую все их недостатки. Другой пример мудрого сочетания лучшего в государственных формах — римская конституция, соединившая в себе неограниченную власть консулов, аристократизм сената и демократию коммий (VI, 11—18)<sup>22</sup>.

«Вырождение» рассматривается Полибием как один из органических законов, которому следуют все государственные системы. Другой закон, которому они подчиняют-

<sup>22</sup> Walbank F. W. Polybius and the Roman Constitution.— The Classical Quarterly, 1943, vol. 37. См. также: Pédéch P. Op. cit., p. 307.

ся, — это закон естественного развития через рост и расцвет к умиранию (VI, 51, 4). Циклы естественного развития разных государств не совпадают (Карфагенское государство пришло в упадок в то время, как Римское переживало расцвет). Возможность продления периода расцвета путем принятия смешанной конституции обеспечивала победу одной системы над другой. Но тогда уже включался новый, губительный для государства-победителя фактор — рост роскоши, моральная порча. На этот раз смешанная форма правления уже не могла спасти. Такова полибиева схема государственного развития, объясняющая место государства в историческом процессе.

Переноса законы органического мира на общественную жизнь, Полибий стремился быть на уровне современной ему науки, но тем самым он вносил в понимание исторического процесса грубый схематизм. Эта же черта обнаруживается и при попытках Полибия сравнивать одно государство с другим. Он принимает во внимание лишь формальные признаки, не учитывая уровня развития общества и культуры, забывает даже о психологии государственных деятелей, в которой сам же призывал видеть истоки межгосударственных конфликтов. К теории Полибия о государстве может быть применена его же критика платоновского государства, столь же несравнимого с реальными государствами, сколь мраморные статуи с живыми людьми (VI, 47, 9).

В намеченной всеми античными авторами системе факторов исторического процесса виднейшая роль принадлежит личности, наделенной разумом и пониманием своих возможностей<sup>23</sup>. Личность как исторический фактор занимает у Полибия неизмеримо большее место, чем, например, у Фукидида. Это отражает ту линию преувеличения роли выдающихся людей, которая была обусловлена все углублявшимся кризисом полиса со всеми его морально-политическими последствиями. Уже в изложении Феопомпа, а еще более у историков поры Александра Македонского и времени диadoхов выдающиеся политические деятели и полководцы рассматривались как активная и формирующая сила в истории, в то время как народ при таком изложении хода событий все более терял какую-либо роль.

Живописуя портреты исторических деятелей, Полибий

<sup>23</sup> Bruns J. Die Persönlichkeit in der Geschichtsschreibung der Alten. В., 1898; Freu M. Biographie und Historia bei Polybios.— *Historia*, 1954, Bd. 3, S. 219—228.

дает каждому из них индивидуализированную характеристику, отмечая как положительные черты, так и недостатки. Перед читателем проходит целая галерея исторических персонажей, не повторяющих друг друга; тут и Филипп V — кровожадный и неистовый тиран, но в то же время проницательный, отважный, одаренный государственный деятель; и македонский царь Персей — жестокий, жадный, легко возбудимый и нерешительный; и карфагенский полководец Газдрубал — мужественный и благородный, но беспечный и неосмотрительный; и основатель Ахейского союза Арат Старший — честный, мужественный и мудрый человек, искусный политик, но плохой воин; и вифинский царь Прусия — трусливый, праздный, морально нечистоплотный; и нумидийский царь Масинисса — деятельный, физически крепкий, пользующийся всеобщим уважением; и трибун, консул и цензор Гай Фламиний — честолюбивый, хвастливый и опрометчивый. Любимыми героями Полибия являются ахейский стратег Филопомен (X, 22, 4; XI, 9—10; XX, 12; XXIII, 12), оба Сципiona (X, 2, 2; XVI, 23; XXIII, 14; XXXII, 9—16), а также Ганнибал (III, 11; IX, 9, 1—5; X, 33, 1—6; XI, 19; XV, 15—16; XXIII, 13). Здесь даются не просто характеристики, а развернутые психологические портреты. Эти персонажи раскрываются в развитии, становлении, в глубокой связи со своим временем и политической обстановкой.

О значении, которое Полибий придавал личности, свидетельствует и полемика, в которую он вступает со своими предшественниками, как в оценке роли личности вообще, так и в характеристиках отдельных лиц. При этом острее критики направлено против неумения или нежелания историков проявлять в оценке личности объективность. Так, осуждается Феопомп, увидевший в основателе Македонской державы Филиппе II средоточие всех мыслимых пороков и не нашедший в нем ни единого достоинства. Это, подчеркивает Полибий, не согласуется с простым здравым смыслом: мог бы человек подобных свойств добиться столь выдающихся результатов в своей деятельности? Полибий делает следующий вывод: историк должен остерегаться как неумеренного восхваления исторических персонажей, так и их очернения (VIII, 11—13). К этому же выводу Полибий подводит читателя и своим разбором оценки сицилийского тирана Агафокла, которую дал Тимей. По суждению самого Полибия, Агафокл — «подлейший из людей» (XII, 15, 1). Но описание его деятельности, дан-

ное Тимеем, не объясняет кардинального факта: каким образом юный гончар, не обладавший ни средствами, ни связями, одержал победу над могущественным Карфагеном, достиг власти над всей Сицилией и сумел ее сохранить до конца своих дней? «Итак, — резюмирует Полибий, — в обязанности историка входит поведать потомству не только о том, что служит к опорочению и осуждению человека, но также и о том, что достойно похвалы. В этом и состоит настоящая задача истории (XII, 15, 9).

Рассматривая личность как наиболее значительный исторический фактор, Полибий часто обращается к сравнительно-историческому методу. Сравнение исторических персонажей становится у Полибия не только особым повествовательным приемом, но и преследует цель — объяснить то или иное течение событий. Выявляя у разных государственных деятелей сходные черты характера, Полибий пытается объяснить ими и общность судеб государств. Так, безудержное честолюбие, алчность и жестокость, в равной мере присущие и Антиоху III и Филиппу V, привели их царство к крушению (XV, 20). Сопоставление пергамского царя Евмена II с Персеем идет в другом направлении: это столкновение двух различных типов. Несходство характеров вызвало взаимное нерасположение царей, их недоверие друг к другу и невозможность объединения сил в борьбе против Рима (XXIX, 8—9). Сравнение Арата и Деметрия Фарского должно было показать зависимость поведения главы государства от непосредственного его окружения. Следуя наставлениям умеренного и благородного Арата, Филипп вел себя достойно, а советы Деметрия привели царя к чудовищным беззакониям (VII, 13—14). По принципу контраста сравниваются два ахейских политика — Филопомен и Аристей, перед которыми стояла одна и та же задача: защита интересов Ахейского союза. Оба политика действовали в соответствии со склонностями своего характера (XXIV, 13—15).

По мнению Полибия, во взаимоотношениях «личностей» и «народа» первые играют активную роль, а второй — более или менее пассивную. Особенно отчетливо это проявляется в сравнении народа с морем, а личности с ветром. «Со всякой толпой бывает то же, что и с морем... По природе своей безобидное для моряков и спокойное море всякий раз, как забушуют ветры, само получает свойство ветров, на нем свирепствующих. Так и толпа всегда проявляет те самые свойства, какими отли-

чаются вожаки ее и советчики» (XI, 29, 9—10)<sup>24</sup>. Во времена Аристиды и Перикла, пишет Полибий, афиняне были прекрасными и благородными людьми, а во времена Клеона и Харета — жестокими и мстительными. (Также и спартанцы изменились после того, как на смену Клеомброту пришел Архелай.) «Следовательно, — резюмирует Полибий, — и характер народов меняется в связи с различными характерами правителей» (IX, 23, 8). Такой подход к народу дает основание Полибию оправдывать его поведение в тех случаях, когда он оказывается жертвой малодушных и преступных правителей. Виновниками в несчастьях эллинов, вынужденных принять в свои города римские фасы и секиры, являются те, от кого исходило столь тяжкое «ослепление народа» (XXXVIII, 5, 13). Безынициативность толпы проявляется и в ее подражании внешнему блеску, в погоне за модой: «Толпа старается подражать счастливым не в том, что они делают доброго, а в предметах маловажных, через то во вред себе выставляют собственную глупость напоказ» (XI, 8, 7).

Проявляя аристократическое презрение к толпе, Полибий не распространяет его на демократию. Демократия в его понимании — это «такое государство, в котором исконным обычаем установлено почитать богов, делить родителей, чтить старших, повиноваться законам, если при этом решающая сила принадлежит постановлениям народного большинства» (VI, 4, 5). Демократия, согласно Полибию, гибнет, переходя в охлократию (VI, 9, 7—8, 10, 4). Свобода и равенство, по его теории, — основа демократии (VI, 9, 4). Причиной гибели демократии являются люди, свыкшиеся с этими благами и перестающие ими дорожить. Это прежде всего богачи, стремящиеся к власти и употребляющие свои средства для оболщания народа. Лишь вследствие безумного тщеславия этих отдельных лиц народ становится жадным к подачкам, демократия разрушается и переходит в беззаконие и господство силы. Начинаются убийства, изгнания, переделы земель, происходит полное одичание народа (VI, 9, 5—9)<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Ср. XXI, 31, 10 и сл., где та же мысль вложена в уста афинянина Дамида, выступающего в защиту этолий в римском сенате, и XXXIII, 20, где речь идет о возбудимости толпы: «Раз только завладевает толпой страстный порыв любви или ненависти, достаточно бывает малейшего повода, чтобы толпа устремилась к своей цели».

<sup>25</sup> Об отношении Полибия к народу и демократии см.: Welwei K. W. Demokratie und Masse bei Polybios.—Historia, 1966, Bd. XV, Heft 3.

Оценивая изгнания, переделы земель, освобождение рабов как нарушение демократии, Полибий предстает перед нами как человек консервативных убеждений. Социальные движения он рассматривает не как результат непримиримых общественных противоречий, а как следствие беззаконной и демагогической агитации безответственных и честолюбивых политиков, пользующихся неустойчивостью народной массы. К числу их относятся и спартанский царь Клеомен, совершивший радикальный политический переворот, и Набис, и Хилон, и другие «тираны».

Интерес Полибия к географии не представляет собой чего-либо исключительного. Исключительным является лишь то, что его познания в этой области основываются на личном знакомстве с театрами военных действий и местами, где разворачивались описываемые им политические события. Труд Полибия в своих сохранившихся частях включает описание 84 городов, что само по себе говорит о широте его географического кругозора. Описывая города, Полибий отмечает выгодность или невыгодность их положения, удаленность от моря, удобство сообщения по сухопутным дорогам, рельеф местности, защищенность от нападений.

Но для Полибия природа не просто среда, в которой разворачивается история. Это ее важнейший фактор. Суровые нравы аркадян и господствующие у них строгие порядки — следствие «холодного» и туманного климата, господствующего в большей части их земель, «ибо природные свойства всех народов неизбежно складываются в зависимости от климата» (IV, 21, 1). Природа, форма и характер местности определяют, по мнению Полибия, особенности военной тактики. «Часто в зависимости от места возможным становится то, что казалось невозможным» (IX, 13, 8). Выбор Ксантиппом открытой местности, удобной для действия конницы и слонов, обеспечил карфагенянам победу над армией Марка Регула (I, 32—34). Эта же открытая местность, преимущества которой не принимались в расчет римлянами, привела их к катастрофе при Требии (III, 71, 1). Огромная протяженность стен Мегалополя при небольшой численности населения сделала весьма сложной оборону (V, 93, 5). Процветание Тарента зависело от его гавани и расположения на пути в Сицилию, Грецию и Италию (X, 1, 6—8).

Создание труда, охватывающего историю всего Средиземноморья, было сопряжено с исключительными сложностями в плане восстановления хронологии событий и изложения их в определенной системе. Полибий приходилось иметь дело с различными эрами и с трудно согласуемым отсчетом лет по правлениям всевозможных царей и магистратов. Одновременно надо было учитывать ошибки, вызванные небрежностью предшествующих историков и их невниманием к хронологии.

В основу хронологической системы Полибия положен счет по олимпиадам, введенный в историю Тимеем и улучшенный Эратосфеном в его «хронографии» на астрономической базе. Полибий неоднократно заявляет, что ведет рассказ по олимпиадам, следуя год за годом (V, 31, 5; XIV, 12, 1; XV, 24 а, 1; XXVIII, 16; XXXIX, 19, 6). События каждого года излагаются по различным странам в строго определенном порядке — сначала Италия с Испанией и Северной Америкой, затем Греция, потом Азия и Египет (XXXIX, 19, 6). Труд разбит на олимпиады таким образом, что начало каждой из них от 140-й до 158-й совпадает с началом книги.

Для уточнения времени события в пределах города Полибий вслед за Фукидидом использует датировку по сезонам — лето и зима. Начало лета, как указывает Полибий (и другие авторы), совпадало с восхождением Плеяд (IV, 37, 2—3; V, 1, 1; XVIII, 220—320) и относилось ко времени между 5 и 18 мая. Таким образом, выражение «в начале лета» равнозначно: в мае — начале июня. За началом лета следовала середина лета (XXXIII, 15, 1), которая обозначалась также как «пора жатвы» (I, 17, 9). Иногда даются более точные астрономические указания — «между восходом Ариона и Пса» (I, 37, 4), «в пору восхода Пса» (II, 16, 9), что соответствует июню. Упоминается также «осеннее равноденствие». В это время этолийцы избирают своих стратегов (IV, 37, 2). Но к лету в то же время он относит и октябрь: консулы 177 г. до н. э., пишет он, отправились в провинцию «в конце лета» (XXV, 4, 1). Более точной могла бы быть датировка по магистратам — эпонимам, но Полибий не применяет ее по тем же соображениям, что и Фукидид: она внесла бы в его труд большую путаницу. Однако упоминаемые Полибием имена магистратов используются современными историками как хронологические указания.

Ставя на первый план интерпретацию событий и объ-

яснение причинной связи между ними. Полибий в то же время не игнорировал и художественной стороны исторического труда и тех традиций, которые были в этом отношении уже выработаны. Но, согласно его взгляду, художественные приемы историка и его слог должны играть служебную и подчиненную роль, лишь усиливая воздействие, какое производит правдивый рассказ (XVI, 18, 2). Главное в историческом труде не форма, а содержание.

Исторические деятели, выведенные Полибием, так же, как у Геродота, произносят речи; но введение в текст речей имеет целью не столько драматизацию изложения, сколько передачу в наиболее близком к действительности виде тех доводов, к которым прибегали политики. Задача историка не в выдумывании речей, отвечающих всем требованиям и законам риторического искусства, а в выявлении того, какие речи были произнесены в действительности, «каковы бы они ни были» (XII, 25, 1). Развивая эту мысль в другой части своего труда, Полибий пишет: «Как государственному деятелю не подобает по всякому обсуждаемому делу проявлять многословие и произносить пространственные речи, но каждый раз следует говорить в меру, соответственно данному положению, так точно и историку не подобает наводить на читателя тоску и выставлять напоказ собственное искусство, но следует довольствоваться точным, по возможности, сообщением того, что было действительно произнесено, да и из этого последнего существнейшее и наиболее полезное» (XXXVI, 1, 6).

При отборе и подаче фактического материала Полибий совершенно сознательно применяет принцип целесообразности. Он исключает из изложения все не имеющее прямого отношения к цели исследования. Так, он опускает подробности об Агафокле, мотивируя это тем, что пространственный рассказ не только бесполезен, но и тягостен для внимания (XV, 36, 1). В других случаях, когда он не объясняет, почему его изложение является кратким, мы можем судить о принципах отбора фактов по критике предшествующих авторов.

В труде Полибия нет элементов того новеллистического стиля, который в наиболее чистом виде представлен Геродотом. Но это не исключает использования Полибием того же приема отступлений, или экскурсов, который был введен «отцом истории». Экскурсы эти, однако, имеют своей целью не занять читателя какими-нибудь интересными подробностями, а раскрыть ему какую-либо из сто-

рон события или явления, скрытую от внешнего и поверхностного взгляда. Эти отступления позволяют сравнить факты, выявить сходство и различие, определить, в чем достоинства или недостатки их трактовок предшествующими историками.

Наряду с этими многочисленными теоретическими отступлениями, на которых в основном строятся наши заключения о Полибии как историке, в его труде есть географические экскурсы, портретные характеристики, в известной мере оживляющие текст. И все же в представлении древних читателей, привыкших к красочному и занимательно изложению Геродота, Эфора, Феопмпа, труд Полибия должен был казаться сухим, неувлекательным. Такой упрек был высказан по его адресу Дионисием Галикарнаским, уверявшим, что не найдется человека, который смог бы одолеть этот труд с начала до конца (Dion. Hal. Thuc., 9).

Оценивая Полибия как историка, мы не можем обойти вопрос о его отношении к современным ему философским течениям. Биографические данные Полибия указывают на возможность воздействия на него стоической философии. В годы его юности в Мегалополе пользовались популярностью философы-стоики. В Риме Полибий вошел в кружок Сципиона вместе с виднейшим представителем средней Стои Панэцием. На этом основании некоторые современные исследователи считают, что Полибий должен был испытать сильное влияние стоической философии<sup>26</sup>. Однако большинство исследователей не признает Полибия приверженцем стоической философии. К. Циглер, например, считает, что у Полибия отсутствует специальная стоическая терминология<sup>27</sup>. Со стоиками Полибия роднила антиполисная направленность его исторической концепции и представление о закономерности всего совершающегося в мире. Но у него отсутствует свойственный стоикам фатализм и те этические начала, которые были центральными пунктами их учения.

В заключительной части своего труда Полибий дал описание удивительного эпизода, участниками которого были он сам и его друг — победитель Карфагена Корнелий Сципион Эмилиан. Наблюдая за тем, как римские воины раз-

<sup>26</sup> Von Scala R. Op. cit., S. 201—255.

<sup>27</sup> Ziegler K. Polybios.— In: Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 1932, vol. XXI, col. 1564.

рушают до основания великий город, Сципион внезапно заплакал. Это были не слезы жалости, а слезы прозрения. Римлянин предвидел (так, во всяком случае, трактует его поведение Полибий), что и его город когда-нибудь постигнет та же судьба, какую испытал Карфаген, а до него столицы других великих империй (XXXIX, 6). Заставляя читателей задуматься над тревогой победителя, Полибий поднимал их до понимания трагизма переломных эпох. Почти одновременно с Карфагеном был разрушен Коринф (146 г. до н. э.); народы Греции потеряли независимость. Восторгаясь государственным строем, позволившим Риму одержать победу, Полибий в то же время воспринимал потерю своими соотечественниками свободы как глубочайшее несчастье (XXXVIII, 5, 2—9). Отсюда противоречивость политической и жизненной позиции Полибия. Для него, как и для его современников, не оставалось иного выхода, как подчиниться враждебной силе. Но при этом он сумел сохранить чувство собственного достоинства и понимание величия той культуры, которую он представлял. Будучи доставлен в Рим как заложник, он стал фактически первым историком Рима, сумевшим определить причины возвышения Рима и предвидеть уже в эпоху триумфальных побед неотвратимость его гибели.

Труд Полибия оказал огромное влияние на развитие последующей античной историографии как грекоязычной так и латинской. Два выдающихся историка — Посидоний и Страбон — на греческом языке продолжили изложение истории со 144 г. до н. э., на котором заканчивалось произведение Полибия. Его понимание задач исторического труда мы обнаруживаем у римского историка времени Гракхов Семпрония Азеллиона: «Нам недостаточно изложить то, что произошло, но еще следует показать, с какой целью и по какой причине оно было совершено» (ард А. Gell., V, 18, 9). Цицерон дает Полибию следующую оценку: «Никто не был тщательнее нашего Полибия в изыскании минувших времен» (Рер., II, 14). Брут перед Фарсальским сражением читал Полибия и делал сокращение его труда<sup>28</sup>. Влияние Полибия прослеживается во всех крупных трудах античных историков, вплоть до Аммиана Марцеллина.

К X в. от сорока книг Полибия сохранилось лишь первых пять. Из остальных значительные выдержки имелись

---

<sup>28</sup> Suid. s. v. Brutus; Plut. Brut., 4.

в компендии Константина Багрянородного (912—950) по разделам «О послах», «О доблестях и пороках», «О засадах» и т. д. Всего в нашем распоряжении не более трети текста «Всеобщей истории»<sup>29</sup>.

Это не помешало науке нового времени оценить Полибия по достоинству. В Полибиане XIX и XX вв. насчитывается много сотен работ. В середине прошлого века привлекала к себе внимание политическая позиция историка, особенно в свете актуальной тогда проблемы национального объединения европейских государств<sup>30</sup>. С конца XIX в. исследователи наиболее активно изучают философию истории Полибия, его теорию государства, методы работы над источниками. Однако нельзя сказать, что нам понятны все аспекты научного творчества выдающегося античного историка, и советским историкам здесь нечего делать<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> От других сочинений Полибия — «Биография Филопомена» в трех книгах, «Тактика», «Об обитаемости экваториальных областей» — ничего не сохранилось.

<sup>30</sup> Подробнее см.: Немировский А. И. Полибий как историк. — Вопросы истории, 1974, 6, с. 87—88.

<sup>31</sup> В советской науке нет монографического исследования о Полибии: Из статей, кроме названных, см.: Конрад Н. И. Полибий и Сыма Цянь. — В кн.: Запад и Восток. М., 1972.

## РИМСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ. САЛЛЮСТИЙ И ЛИВИЙ

Давая оценку эллинистической историографии, мы уже отмечали ее воздействие на разработку негреками местных историй. Однако наиболее широким полем приложения эллинистических историографических влияний был западный сосед — Рим, ставший в конце III в. до н. э. самым сильным государством Италии и средиземноморского Запада<sup>1</sup>.

Первые римские историки Кв. Фабий Пиктор, Л. Цинций Алимент, Г. Ацилий писали свои труды по-гречески. В древности это никого не удивляло и не требовало объяснений. В новое время в связи с грекоязычностью ранней римской историографии был поставлен ряд вопросов и предложено их решение. На какого читателя были рассчитаны истории Рима, написанные на греческом языке? При ответе на этот вопрос необходимо иметь в виду, что знание греческого языка в римском обществе конца III в. до н. э. было очень незначительным. Первые римские историки не могли рассчитывать на то, что с их произведениями познакомятся их соотечественники-современники. Очевидно, они меньше всего думали и о своих потомках: трудно было предвидеть, что столетие спустя греческий язык станет доступен множеству образованных римлян. Не писали ли они для современников-греков, чтобы показать им древность своего города и выставить римскую политику в более выгодном свете? Такое предположение было высказано и нашло немало приверженцев. Однако оно мало согласуется с теми возможностями, которыми обладала античная техника размножения рукописей. Мог ли римский

<sup>1</sup> Об эллинистическом влиянии на римскую историографию подробнее см.: Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима. М., 1977, с. 99 и сл.

историк, особенно в то время, когда Италия была охвачена пламенем Ганнибаловой войны, надеяться, что его труд достигнет Сиракуз или Афин и откроет глаза тем, кто видел в римлянах варваров похуже карфагенян?

Первые римские историки не были поставлены перед необходимостью выбора языка. История в III и начале II в. до н. э. не могла писаться на латинском языке прежде всего потому, что последний не обладал необходимой для этого терминологией. Однако решающим в использовании греческого языка было, как это ни может показаться странным, то, что в распоряжении историков, вознамерившихся рассказать о римской старине, были греческие источники<sup>2</sup>.

Во вводных частях учебников по истории Рима, где обычно содержится характеристика римской историографии, мы обнаруживаем достаточно традиционную линию ее развития: 1) старшие анналисты, 2) младшие анналисты, или ее вариант: 1) старшие анналисты, 2) средние анналисты, 3) младшие анналисты. Порожденная заложенным в нас стремлением к систематизации, эта схема является насилием над имеющимися в нашем распоряжении фактами.

Прежде чем устанавливать градации, надо выяснить, что разумеется под словом «анналист». Историк, пользующийся в качестве источника анналами — таково обычное объяснение этого слова. Но в распоряжении историков конца III — первой половины II в. до н. э. не было никаких анналов. Первые анналы были составлены и обнародованы Муцием Сцеволой между 130 и 120 гг. до н. э. Они получили название «Великие» не потому, что им предшествовали «Малые», а по общественному положению составителя, являвшегося Великим понтификом (Fest., p. 113 L.). В слово «анналист» вкладывают и другое значение: историк, излагающий историю Рима с возникновения Города до своего времени, следуя год за годом. Но и при таком понимании «анналистики» мы должны исключить из нее ряд наиболее крупных ее представителей. Первый автор истории на латинском языке Катон Старший, обычно причисляемый к средним анналистам, не давал летописного изложения римской истории, а рассматривал происхождение многих народов и городов Италии.

<sup>2</sup> Так, первый римский историк Фабий Пиктор излагал легенду о возникновении Рима по Диоклу из Пепарифоса: Dion. Hal., I, 79, 4; Plut., Rom. 3, 1; 8, 9.

Историк времени Гракхов Семпроний Азеллион отказался не только от анналистического способа изложения, но и от обращения к римско-италийской старине. Подражая Полибию, он излагал современную историю. Это, однако, не помешало систематизаторам нового времени отнести его к средним анналистам.

Мы убеждаемся, что термин «анналист» применительно к ранним римским историкам столь же ошибочен, как «логограф» по отношению к первым греческим<sup>3</sup>. Правоммерно лишь говорить об анналистическом способе изложения материала. Его старались придерживаться и древнейшие римские историки, в распоряжении которых были обработанные греческими писателями легенды о начале Рима и имена сменяющих друг друга должностных лиц. После опубликования «Великих анналов» Муция Сцевола изложение римской истории становится более обстоятельным и красочным. В трудах римских историков конца II и первой половины I в. до н. э. излагались заимствованные из жреческих анналов сведения о различного рода знаменьях, якобы предвещавших волю богов (продигиях). Стремясь придать рассказу живость, они заставляли полубогатых персонажей произносить длинные речи. Еще большим отходом от требований научной истории было процитирование в прошлое тех социальных и политических конфликтов, которыми была так богата бурная современность эпохи гражданских войн. Римские историки первой половины I в. до н. э. — Клавдий Квадригарий, Валерий Анциат, Лициний Макр, Корнелий Сизенна, — писали всегда с четкой политической целью, исходя из интересов той политической группировки, к которой принадлежали. Но в их трудах присутствует преувеличение заслуг своего рода. Возможно, это связано с использованием похвальных речей в честь покойных и хроник, которые велись в аристократических родах.

Давая оценку ранним римским историкам, Цицерон сравнивает их с предшественниками Геродота Ферекидом, Геллаником, Акусилаем и порицает тех и других за отсутствие стремления украсить свою речь (*Cic. De orat.*, II, 12). Развитие историографии он ставит в связь с развитием ораторского искусства, полагая, что историей должен заниматься оратор, человек, владеющий приемами

<sup>3</sup> Эта точка зрения детально аргументирована М. Гельцером (см. *Gelzer M.—Hermes*, 1933, LXVIII, S. 129 sqq.; 1954, LXXXII, S. 193 sqq).

художественного изложения материала и в то же время стремящийся к установлению истинного течения событий и его причин. Слово «оратор» имело для Цицерона также и значение «следователь», потому что в Риме государственные защитники не только выступали с речами на судебных процессах, но и вели всю подготовительную работу по установлению истины. Таким образом, призывы Цицерона к превращению историографии в младшую ветвь ораторского искусства не означают, что он пренебрегал ее научными и воспитательными задачами. Именно Цицерону принадлежат знаменитые слова: «Поистине история свидетельница времен, свет истины, жизнь памяти, наставница жизни, вестница старины» (*De orat.*, II, 36). Цицерон подчеркивал, что «первый закон истории — ни под каким видом не допускать лжи; затем — ни в коем случае не бояться правды; не допускать ни тени пристрастия, ни тени злобы» (*De orat.*, II, 15). В связи с этими «законами» выдвигается требование к содержанию исторических трудов: «Характер содержания требует держаться последовательности времени и давать картину обстановки; кроме того, так как в рассказе о великих и достопамятных событиях читатель хочет узнать сначала о замыслах, затем о действиях и, наконец, об их исходе, то необходимо, говоря о замыслах, дать понять, что в них писатель одобряет; говоря о действиях — показать не только что, но и как было сделано или сказано; говоря об исходе событий, раскрыть все его причины» (*De orat.*, II, 15).

Говоря о развитии греческой историографии, Цицерон отмечает появление у греков «историков из числа философов» (*De orat.*, II, 13). Мы могли бы ожидать, что будет назван Аристотель. Но в качестве историков-философов фигурируют Ксенофонт — ученик Сократа и Каллисфен — ученик Аристотеля. Таким образом, критерием дефиниции историка-философа служит не попытка философского осмысления истории, а чисто внешний, формальный элемент. Поэтому нас не удивит, что Цицерон не заметил, что и в Риме, причем в его время, были подлинные историки-философы.

В поэме «О природе вещей» Лукреций Кар поставил целью распространить истинные знания не только о природе, но и о человечестве, сформировавшемся и окрепшем в суровой борьбе с лишениями и трудностями. Будучи принципиальным сторонником материалистической философии Эпикура, Лукреций решительно выступает против

религиозно-мифологического учения о «золотом веке» и картины последовательного ухудшения человечества. Рисуемая Лукрецием картина отдаленного прошлого наполнена пафосом человеческой активности, движения от тьмы к свету. Распространяя на человеческую историю философскую теорию подражания (*mimesis*), Лукреций объясняет общественный прогресс без помощи божественного вмешательства. Люди научаются добывать огонь, наблюдая воспламенение деревьев от удара молний или трения деревьев друг о друга во время сильного ветра. Подражание природе приводит к использованию шкур животных для согревания тела и к изобретению земледелия. Естественное происхождение Лукреций приписывает и духовной культуре человечества — языку, пению, музыке, архитектуре. Всему человека научили не боги, а нужда — движущая сила прогресса.

Наличие греческих и, прежде всего, эллинистических образцов историографии сделало весьма актуальным вопрос о содержании и форме исторических трудов. С какого времени должно начинаться изложение исторических событий? Со времен Ромула и Рема? Или историк должен вводить читателя в гущу современности, используя свои наблюдения и политический опыт? Спор по этому поводу содержится в трактате Цицерона «О законах» (*De leg.*, I, 8). Отражением его служит творчество двух выдающихся римских историков Г. Саллюстия Криспа и Т. Ливия. Первый из них дал историю гражданских войн в Риме, второй — общую историю Рима от Ромула. Подобно Геродоту и Фукидиду, Саллюстий и Ливий — два лица римской историографии. Обращенные в разные стороны, они неотделимы один от другого, как две ветви, выросшие на одном стволе.

\* \*  
\*

История гражданских войн в нашем представлении обычно ассоциируется с именем Аппиана, изложившего события внутреннего развития Рима от Гракхов до Августа в специальном сочинении «*Εμφιλία*». Но греческий автор, отделенный от гражданских войн конца республики полутора столетиями «римского мира» («рах *Romana*»), не дал и не мог дать в их изложении ничего принципиально но-

вого. Он прямо или косвенно зависел от латиноязычной исторической традиции, представленной, насколько нам известно, трудами Корнелия Сизенны, Г. Фанния, Л. Лукцея, Танузия Гемина, Г. Саллюстия Криспа, Г. Азиния Поллиона, Бутидия Нигера, Ауфидия Басса, Кремуция Корда. От всего этого обилия трудов о гражданских войнах в более или менее полном виде дошли сочинения одного Саллюстия, имеющие тем большее значение, что их автор был связан с гражданскими войнами временем своей жизни и личной судьбой.

Родившись в 86 г. до н. э., в разгар войны между марьянцами и сулланцами, в годы своего детства Саллюстий пережил быстротечный рецидив гражданских междуусобиц — борьбу с Эмилием Лепидом, в годы юности — вспышки гражданских волнений: заговоры Пизона и Катилины. Зрелость Саллюстия приходится на период первого триумвирата и войн между Цезарем и Помпеем, в которых он участвовал на стороне Цезаря. После убийства Цезаря Саллюстий, как он сам утверждает, добровольно отошел от политической деятельности и посвятил себя занятию историей. При этом он обратился не к римской старине, а к событиям, происходившим на его глазах, или несколько более ранним, отделенным от него жизнью одного поколения. Это было нарушением анналистической традиции и ее обыкновения брать исходной точкой исторического повествования основание Рима. В поле зрения Саллюстия — современность. Взгляд в отдаленное прошлое он переносит в тех случаях, когда хочет осмыслить факты и конфликты современной истории.

Обращаясь к бурной современности, Саллюстий достаточно ясно предвидел те трудности, которые ему придется преодолеть. Это не недостаток источников, на который обычно сетовали анналисты, а сложность создания такого исторического труда, в котором бы отсутствовали предубежденность современника и участника событий и который бы не мог расцениваться как сведение личных счетов с недругами. «Неравная слава выпадает на долю того, кто пишет историю, и того, кто ее созидает: ведь и словесное выражение должно быть на уровне описываемых событий, а если автору случится отозваться с неодобрением о заведомой ошибке, большая часть читателей сочтет сказанное внушенным недоброжелательством и завистью» (Cat., 3, 2). Это как бы пророческое предвидение не только суждений, которые вызывали труды Саллюстия у со-

временников, но и споров, которые разгорелись две тысячи лет спустя об объективности Саллюстия как историка.

Несмотря на настойчивые уверения Саллюстия, что «он свободен от надежд, страха и духа партий» (Cat., 4, 2) и что «в описании гражданских войн принадлежность к противной партии не удалила его от истины» (Hist., 6), начиная с середины XIX в. большинство исследователей было убеждено в неискренности Саллюстия и его пристрастии к одной политической партии. В наиболее категоричной форме этот взгляд был высказан Т. Моммзеном, охарактеризовавшим Саллюстия как «заведомого цезарианца», написавшего «тенденциозный, политический трактат, старающийся реабилитировать демократическую партию, на которую опиралась римская монархия, и снять с памяти Цезаря самое темное пятно (тайное участие в заговоре Катилины. — А. Н.), а также обелить по возможности дядю триумвира Марка Антония»<sup>4</sup>. Развивая этот тезис, Эд. Шварц поставил написание «Заговора Катилины» в связь с посмертной публикацией враждебной Цезарю рукописи Цицерона «De consiliis suis» и стал рассматривать активность Саллюстия в области истории как прямую реакцию на заказ триумвиров<sup>5</sup>. В этой форме мнение о Саллюстии было воспринято и немецким марксистом А. Розенбергом, отнесшим Саллюстия к числу опытных и искусных «партийных журналистов» и считавшим, что под давлением обстоятельств Саллюстий приписал марионетке Красса и Цезаря Катилине самостоятельную роль<sup>6</sup>.

Общее падение престижа модернизаторского и гиперкритического направлений в 20-х гг. нашего века сказалось положительным образом на репутации римских историков. Происходит то, что может быть названо их «реабилитацией». Г. Дрекслер обратил внимание на то, что критика Саллюстия направлена не только против нобилитета, но и против «новых людей» и плебса, и что она вовсе не преследует цель создать «видимость объективности», а отражает истинные убеждения историка, пекшегося не о своей партии, а о римском государстве в целом<sup>7</sup>. В этом же направлении исследовал «Историю» Саллюстия

<sup>4</sup> Моммзен Т. История Рима. М., 1941, т. III, с. 158.

<sup>5</sup> Schwartz Ed. Die Berichte über die Catilinarische Verschwörung.— Hermes, 1897, 32, S. 554 sqq.

<sup>6</sup> Rosenberg A. Einleitung und Quellenkunde zur Römischen Geschichte. Berlin, 1921, S. 174 sqq.

<sup>7</sup> Drexler H. Sallust.— Neue Jahrbücher, 1928, 4, S. 390—399.

Ф. Клингнер, показавший, что мнение о Саллюстии как цезарианце не соответствует взглядам Саллюстия на ход римской истории, становившимся все более и более мрачными. У Саллюстия со смертью Цезаря исчезла надежда на восстановление республиканских порядков и поэтому, сохраняя уважение к Цезарю как выдающейся личности, Саллюстий не высказывает никакого сочувствия его стремлению к высшей власти и не стремится оправдать поведение покойного диктатора в каждой и любой конкретной ситуации<sup>8</sup>.

Новый взгляд на Саллюстия был поддержан О. Зеелем, привлечшим в этой связи биографические данные<sup>9</sup>. Рассматривая Саллюстия как человека, О. Зеель выявил постепенное разочарование Саллюстия в программе Цезаря и показал, как это способствовало объективности освещения отдельных эпизодов гражданских войн. Отмечая ошибки и неточности в трудах Саллюстия, он считает их следствием небрежности, а не умышленного искажения истины. Отказ от трактовки Саллюстия как «партийного журналиста» естественным образом повлек за собой интерес к его исторической концепции. Ф. Егерманн, исследуя вступления в трудах Саллюстия, выявил в них влияние философских взглядов Платона и Дикеарха<sup>10</sup>, а Г. Патцер и П. Пероша в широком плане сопоставили Саллюстия с Фукидидом<sup>11</sup>.

Советские исследователи в 30-е гг. еще более усилили отрицательную характеристику Саллюстия, приписав к тем недостаткам, на которые указали Моммзен и Шварц, еще один порок — непонимание классовой борьбы в античном мире. Так, переводчик Саллюстия и автор посвященной ему статьи С. П. Гвоздев уверяет, что древний историк искажил «восстание Катилины», «движение беднейшего италийского крестьянства, кабальных рабов и сельских батраков против римских финансистов и крупных помещиков»<sup>12</sup>. В споре с апологетами Саллюстия советские исто-

<sup>8</sup> Klingner F. Über die Einleitung der Historien Sallusts.—Hermes, 1928, 63, S. 165—192.

<sup>9</sup> Seel O. Sallust. Von den Briefen ad Caesarem zu conjuratio Catilinae. Leipzig, 1930.

<sup>10</sup> Egermann F. Die Proömion zu den Werken des Sallust. Wien, 1932.

<sup>11</sup> Patzer H. Sallust und Thukydides.—Neue Jahrbücher, 1941, 4, S. 124 sqq.; Perrochat P. Les modèles grecs de Salluste. Paris, 1949.

<sup>12</sup> Гвоздев С. П. Саллюстий и его монография.—В кн.: Заговор Катилины. М.—Л., 1934, с. 327.

рики тех лет не критически восприняли тезис западных модернизаторов о Саллюстии как цезарианце, заклятом враге Цицерона, фальсификаторе истории.

Между тем в послевоенных исследованиях о Саллюстии наблюдается последующий отход от «классического» тезиса о Саллюстии как цезарианце и тенденциозном писателе. Стейдле, основываясь на утверждении самого историка (Cat., 4, 2), приходит к выводу, что Саллюстий выработал с самого начала план истории гражданских войн, и отдельные, следующие одна за другой монографии были частью этого плана<sup>13</sup>. Отсюда, по мнению Стейдле, вытекает, что во всех своих трудах, а не только в последних, Саллюстий не защищал действий Цезаря, хотя и был сторонником созданной им государственной формы. К. Бюхнер объясняет умолчания в трудах Саллюстия не желанием извратить истинный ход событий, а сознательным стремлением избежать плоского, поверхностного перечисления фактов, проникнуть в самую суть вещей, в их глубину<sup>14</sup>. Р. Сайм обнаруживает в Саллюстии противника тирании, предупредившего своей критикой заговора Катилины о бедах, которые ожидали римское общество позднее, в годы правления Калигулы, Нерона, Домициана<sup>15</sup>. Ла Пенна толкует критику Саллюстием римских «партий» в том плане, что историк стремился к единству римского народа и был идейным вдохновителем принципата<sup>16</sup>.

В советской послевоенной литературе о Саллюстии ведущее место занимают труды И. М. Тронского и С. Л. Утченко. Резюмируя взгляды современной науки на Саллюстия как историка, И. М. Тронский пишет: «От представления будто историография Саллюстия представляет собой публицистику на службе цезарианской партии, пришлось отказаться»<sup>17</sup>. С. Л. Утченко уже в первых своих работах выступил против модернизаторского подхода к древнему историку, призывая рассматривать его в связи

---

<sup>13</sup> Steidle W. Sallusts historische Monographien. Wiesbaden, 1958.

<sup>14</sup> Büchner K. Sallust. Heidelberg, 1960; Он же. Das Verum in der historischen Darstellung des Sallust.—Gymnasium, 1963, 70, S. 231—252.

<sup>15</sup> Syme R. Sallust. Berkley—Los Angeles, 1964.

<sup>16</sup> La Penna A. I fatti e le Idee. Milano, 1968.

<sup>17</sup> Тронский И. М. Послания Саллюстия.—Учен. зап. ЛГУ. Серия филологических наук, 1948, вып. 13, с. 323.

с его эпохой и современной ему расстановкой сил<sup>18</sup>. Взгляды С. Л. Утченко на Саллюстия испытали определенную эволюцию. Первоначально, основываясь на приписываемых Саллюстию «Письмах к Цезарю», С. Л. Утченко считал возможным говорить о демократических идеалах Саллюстия<sup>19</sup>. Впоследствии он признал, что его вывод о демократическом идеале Саллюстия, «весьма преувеличен»<sup>20</sup>. В своей вышедшей посмертно работе о Цезаре С. Л. Утченко формулирует тезис об относительной объективности Саллюстия, связанной с его разочарованием в политике триумвиров<sup>21</sup>.

В обзоре литературы о Саллюстии мы не ограничились теми работами, которые характеризуют его как историка, но остановились на оценках его как политика, поскольку понимание политических позиций необходимо для любого исследования, особенно же, когда речь идет об историке гражданских войн. Но помимо этого, задачей исследования является также выявление связи Саллюстия с предшествовавшей ему исторической традицией и влияния на него греческих философско-исторических идей.

В поисках объяснения глубокого общественного разлада и борьбы между гражданами одного государства, коренящихся, как это понимаем мы, в его классовой основе, римские историки обращаются к трудам греческих историков, пытавшихся осознать тот же процесс на фактах кризиса полиса<sup>22</sup>. В этом отношении греческий опыт был весьма поучительным, хотя гражданские войны в Риме по масштабам и остроте социальных конфликтов превзошли распри в греческих государствах. Таким образом, влияние греческих исторических трудов объяснялось не столько совершенством их формы, сколько содержащейся в них попыткой дать ответ на волновавший современников вопрос о причинах гражданских междуусобиц. Именно в этом причина появления в римской историографии трудов «нового типа».

Римский читатель, развернувший свиток с первым историческим сочинением Саллюстия, обнаруживал, к свое-

<sup>18</sup> Утченко С. Л. Развитие политических воззрений Саллюстия.— ВДИ, 1950, 1, с. 244.

<sup>19</sup> Утченко С. Л. Идеино-политическая борьба накануне падения Римской республики. М., 1952, с. 157.

<sup>20</sup> Утченко С. Л. Кризис и падение Римской республики. М., 1965, с. 101.

<sup>21</sup> Утченко С. Л. Юлий Цезарь. М., 1976, с. 20 и сл.

<sup>22</sup> Из последних работ см.: *Peresca P. Op. cit.*

му удивлению, вместо имен Энея и Ромула или других персонажей полуполюгендарной римской истории, рассуждение о лежащей в основе человеческого бытия противоположности тела и духа, т. е. материи и идеи, если перейти на язык той философии, к которой восходит это резкое противопоставление. Иллюстрируя противоположности наиболее понятным примером из социальной практики, Саллюстий, что весьма знаменательно, разъясняет, что «дух у нас вроде господина, в теле же мы имеем скорее раба» (Cat., 1, 2). Из дальнейшего изложения следует, что противоположность между телом и духом пронизывает и человеческую историю, что дух господствует во всех видах человеческой деятельности, даже в тех, где, на внешний взгляд, преобладает грубая сила, например, в военном деле. С этой противоположностью связывается и выбор самим Саллюстием того рода деятельности, которой он решил посвятить последние годы жизни. Вместо того, чтобы «пользоваться драгоценным досугом в праздном бездействии и жить, целиком посвятив себя земледелию и охоте — занятиям, которые с успехом могут быть поручены рабам», Саллюстий выбрал возвышенное занятие историей (Cat., 4, 1).

Это философское введение не является привеском к историческому труду. Саллюстий в ходе всего изложения не забывает о противоположности духа и тела и возвращается к ней всякий раз, когда ему требуется объяснить человеческие установления и конфликты. В царский период, который служит Саллюстию примером гармонического общества, государством управляли люди, тело которых одряхлело от возраста, а ум окреп мудростью, сильные духом отцы (patres — Cat., 6, 7). «Порча» царской власти, объясняемая ростом ее могущества, приводит к замене ее властью двух правителей с годичной властью: «они думали, что при таком порядке человеческий дух всего менее сможет путем своеволия дойти до высокомерия» (Cat., 6, 8). Ранняя римская Республика до эпохи Пунических войн рассматривается Саллюстием как гармоничное государство, характеризующееся добрыми нравами и величайшим согласием граждан при полном почти отсутствии корыстолюбия (Cat., 9, 1). Начало упадка Рима Саллюстий относит ко времени разрушения Карфагена, когда стала проявлять свою жестокую силу судьба и «для тех самых людей, которые легко переносили труды, опасности, тяжелые условия, бременем и несчастьем послу-

жили досуг и богатство, столь желанные при иных обстоятельствах» (Cat., 10, 2). Еще более страсть к богатствам развилась во время войн Суллы с Митридатом, «когда все стали грабить и расхищать; один желал дома, другой земли; победители не знали меры и воздержания, они совершали отвратительные и жестокие злодеяния над гражданами» (Cat., 11, 6).

Нетрудно обнаружить некоторое несоответствие этой схемы реальной истории Рима. Разлад между гражданами существовал задолго до Карфагена, как говорят факты борьбы патрициев и плебеев. И страсть римлян к богатству также началась до разрушения Карфагена, как говорят сведения о триумфах первой половины II в. до н. э. Но для Саллюстия важно было наметить процесс распада в целом, не вдаваясь в детали. Когда речь идет об истоках гражданских войн, т. е. о процессе очень длительном, ошибка в двадцать-тридцать лет не играет существенного значения так же, как некоторая идеализация раннеримской истории. Раннее римское общество по сравнению с Римом поздним, несмотря на все конфликты, должно было казаться людям эпохи гражданских войн идеалом.

С позиций науки нашего времени покажется нереалистичным и ошибочным стремление Саллюстия сделать движущими факторами истории моральные категории — «ambitio», «avaritia», тогда как они сами были порождением социально-экономических сдвигов. Однако объяснение Саллюстием распада римского общества, несмотря на все его пороки, не исключает экономических интересов различных классов и общественных прослоек. «Avaritia» может пониматься как моральная категория, но за нею скрывается не просто «жадность», но и страсть к безудержному обогащению, овладевшая не только нобилитетом, но и обедневшими людьми, независимо от того, что было причиной их бедности. Так, Саллюстий указывает как на один из источников гражданских волнений: задолженность среди ветеранов Суллы, не сумевших сохранить свои богатства (Cat., 16, 4) и в соответствии с этим на стремление знатных лиц освободиться от долгов любой ценой. Было бы ошибочно думать, что Саллюстий не понимал экономической основы гражданских войн в Риме. Но говорил он о ней языком философии своего времени, подводя к «моральному» знаменателю самые различные факторы исторического процесса.

Стремление Саллюстия понять и изложить причины упадка римского общества объясняет его обращение к заговору Катилины. То истолкование, которое давалось этому факту Т. Моммзенем и его последователями, — а именно стремление реабилитировать Цезаря — не может быть признано убедительным. После смерти Цезаря мало кого мог интересовать частный вопрос, был ли Цезарь тайным сторонником Катилины. Все главные герои событий — Цицерон, Катон, Красс — были уже мертвы. Если Саллюстий и решился ворошить недавнее прошлое и тревожить тени умерших, то лишь потому, что фигуры Катилины и его сторонников лучше всего иллюстрировали полный моральный распад римского общества и одновременно показывали, чего следует опасаться в настоящем и будущем. Катилина был не просто разорившимся нобилем. В описании Саллюстия он порождение гражданских войн и их «герой». «Уже с юных лет его прельщали междуусобные войны, убийства, грабежи, гражданские распри, и в них он закалил себя смолоду» (Cat., 5, 2). Страх Саллюстия перед гражданскими войнами и отвращение к ним породили такую фигуру. И дело здесь не в том, все или не все приписываемые ему преступления против общепринятых норм были им совершены, а в том, что «данный эпизод по неслыханности преступления и необычайности грозившей опасности» (Cat., 4, 4) был, с точки зрения Саллюстия, наиболее примечательным.

Никто не в состоянии доказать, какие истинные замыслы руководили Катилиной в его попытке государственного переворота и можно только гадать, какую форму приняло бы римское государство, если бы Катилина оказался победителем. Но у нас нет оснований думать, что все черные краски, наложенные Саллюстием на портрет Катилины, объясняются ненавистью Саллюстия к нобилитету и желанием оттенить ими светлую фигуру Цезаря. Тот, кто изучает историю Рима по Моммзену или Шварцу, не найдет, к своему удивлению, в труде Саллюстия ничего, что говорило бы о том, что историк мыслил Цезаря антиподом Катилины. И, более того, оказывается, что Саллюстий в мрачном портрете Катилины наметил и светлые черты, которых не отыскал ни один из его современников. Коварство, непостоянство, ложь, неискренность, моральная испорченность. Но, с другой стороны, пылкость характера, смелость, талантливость, стойкость. Политическая программа Катилины в том виде, в каком она излагается

Саллюстием, поразительным образом совпадает со взглядами самого Саллюстия на причины упадка римского государства. Саллюстий осуждает рост богатства и роскоши, когда «частные лица для своих загородных домов срывали горы и застраивали моря» (Cat., 13, 1). В этих же выражениях о росте роскоши говорит и Катилина, призывая своих сторонников к действию: «Кто может примириться с тем, что у них в избытке богатства, которые они расточают, застраивая моря и срывая горы, а нам не хватает всего нашего добра даже на необходимое» (Cat., 20, 11). В чем же тогда, по Саллюстию, вина Катилины? В чем его роковая ошибка? В стремлении захватить в государстве власть. Эту мысль Саллюстий подчеркивает неоднократно, варьируя ее и дополняя новыми деталями. Так, он указывает, что для Катилины «было совершенно безразлично, какими средствами достигнуть своей цели, лишь бы захватить себе царскую власть» (Cat., 5, 7). И ниже: «Катилина рассчитывал, что через них (женщин.— А. Н.) он сможет поднять городских рабов, поджечь город, привлечь на свою сторону рабов или умертвить мужей» (Cat., 24, 4). Отсюда следует, что Катилина не просто стремился к высшей власти, но путем к ней считал социальный переворот. Этот путь борьбы с разложением общества не мог устроить Саллюстия, как и любого состоятельного римлянина.

Мнение о Саллюстии как панегиристе Цезаря и тенденциозном писателе основывается обычно на его изложении речей Цезаря и Катона на историческом заседании сената (5 декабря 63 г. до н. э.). Цезарь в своей речи выступает как противник казни заговорщиков, обосновывая свое предложение о рассылке их по отдаленным муниципиям моральными и государственными соображениями (Cat., 51). Катон, опираясь на традиции предков, беспощадно расправлявшихся с врагами общественного порядка, настаивает на применении к лицам, уличенным в заговоре, смертной казни (Cat., 52). Комментируя речи Цезаря и Катона, разумеется, не подлинные, но передающие содержание действительно произнесенных речей, и обосновывая их с точки зрения характера ораторов, Саллюстий развивает мысль, что Цезарь во всем своем поведении на пути к власти был сторонником милосердия (*clementia*), а Катон — приверженцем стойкости и твердости старого республиканца (Cat., 54). Перед нами не просто художественный прием характеристики, заимствованный из практики греческой историографии, но и по-

пытка выделить две линии в борьбе политических партий эпохи гражданских войн.

*Clementia*, как замечено современными исследователями, — это не просто личное свойство Цезаря, но политический лозунг формирующейся монархии<sup>23</sup>. *Clementia* фигурирует, как это явствует из политического завещания Августа, в надписи на воздвигнутом им «Шите Доблести», наряду с тремя другими официальными добродетелями. В годы тирании преемников Августа Сенека, призывая к возвращению старых добрых порядков начала Принципата, определяет их словом *clementia*, отличающим царя от тирана (*De Clem.*, 12, 1). *Clementia* — это легенда провинциальных испанских монет (вплоть до времени Антонинов), которую можно считать лозунгом.

В той же мере, в какой *clementia* была близка идеалам партии Цезаря, она была враждебна политической линии оптиматов. В их представлении *clementia* — нарушение суверенитета римского народа, решающего в конечной инстанции, кого казнить, а кого миловать. *Clementia* ассоциировалась с ненавистной свободным гражданам необходимостью принимать благодеяния тирана<sup>24</sup>. *Clementia* — это было то, что вызывало к Цезарю наибольшую ненависть и было причиной его гибели.

Выявление политического содержания изложенной Саллюстием дискуссии о судьбе заговорщиков облегчает нам оценку историка с точки зрения его объективности. Нужно обладать богатым воображением, чтобы увидеть в отношении Саллюстия к Катону и его политической линии враждебность, искусно спрятанную под оболочкой внешней объективности<sup>25</sup>. Если бы это было так, следовало ожидать, что Саллюстий хотя бы малейшим намеком выскажет свое отношение к предложению Катона о помиловании заговорщиков. Вместо этого он излагает противоположную позицию Цезаря, также ничем не давая понять своего отношения к ней. В параллельной характеристике Цезаря и Катона ничто не говорит о личной симпатии или антипатии историка и тем более о пристрастии к популя-

<sup>23</sup> Утченко С. Л. Юлий Цезарь, с. 18.

<sup>24</sup> Особенно показательное суждение Л. Анией Флора: «Ведь милосердие первого в государстве человека (т. е. Г. Юлия Цезаря.— Л. Н.) было побеждено ненавистью — сама возможность получать благодеяния была невыносимо тяжела свободным людям» (*Flor.*, II, 13, 92).

<sup>25</sup> Norden E d. *Die Römische Literatur*. Leipzig, 1912, S. 15.

рам и ненависти к оптиматам. Как справедливо замечает С. Л. Утченко, Саллюстий в период написания им исторических трудов — «не безусловный цезарианец, не страстный поклонник и панегирист, и для него Цезарь теперь вовсе не идеал государственного деятеля, но вместе с тем он не испытывает к нему и никакой вражды, более того, продолжает его считать (правда, наряду с Катоном) мужем «выдающейся доблести». Такое отношение, пожалуй, может служить, если не гарантией, то хотя бы какой-то предпосылкой объективного подхода, в той, конечно, мере, в какой позволено вообще говорить об объективности личных оценок»<sup>26</sup>.

Свое суждение об относительной объективности Саллюстия как историка С. Л. Утченко дополняет тезисом о ретроспективности саллюстиевой характеристики Цезаря, привносящей некоторое неизбежное отступление от эталона объективности, видя ретроспективность в милосердии Цезаря, «качество, которое в 60-х гг. он еще никак не мог и не имел случая проявить»<sup>27</sup>. Но разве выступление против казни катилинариев не проявление милосердия? На наш взгляд, Саллюстий в характеристике позиции Цезаря по отношению к катилинариям ни в чем не отходит от объективности. Показ последовательности политической линии Цезаря не означает отрицательного отношения к столь же последовательно проводимой линии Катона.

Если вопрос об объективности в отношениях Саллюстия к Цезарю и Катону вызывал среди ученых споры, то его необъективное отношение к Цицерону долгое время считалось своего рода аксиомой. Недоброжелательностью Саллюстия объясняли прежде всего тот факт, что Цицерон не стал главным героем труда Саллюстия. Имя его упоминается в тех случаях, когда без этого невозможно понять ход событий и лишь в нескольких фразах Цицерон характеризуется как выдающийся (*egregius*) кандидат на консульских выборах 63—62 гг. до н. э., избранный при горячей поддержке всего населения (*Cat.*, 23, 6), и лучший консул (*optimus consul*). Его первая речь против Катилины оценивается как «блестящая и полезная для государства» (*Cat.*, 31, 6). Решительные действия Цицерона против заговорщиков, доставившие ему впоследствии столько неприятностей, расцениваются Саллюстием как законные

---

<sup>26</sup> Утченко С. Л. Юлий Цезарь, с. 20.

<sup>27</sup> Там же, с. 21.

(Cat., 46, 1). В то же время Саллюстий ничего не сообщает о трех других речах Цицерона, опускает рассказ о его защите Мурены, консула 62 г. до н. э., и ряд других акций, которыми так гордился сам Цицерон. Все это использовалось как свидетельство несправедливости Саллюстия к Цицерону.

Но для того чтобы обвинять Саллюстия в несправедливом отношении к Цицерону, мы должны быть уверены в том, что последний был действительно главным героем событий 63 г. до н. э., а не только хотел казаться таковым. К сожалению, ни один из писателей — современников заговора Катилины, кроме Саллюстия и Цицерона, не дал (или даже точнее не захотел дать) оценки действиям Цицерона, сам же Цицерон сделал все возможное и невозможное, чтобы представить себя спасителем Рима и отцом отечества. На протяжении ряда лет великий оратор со свойственной ему методичностью вдальбивал в умы своих современников мысль о значительности своих заслуг перед государством, сначала понимая их истинную цену, а затем и уверовав в исключительность своего подвига. В 56 г. до н. э., т. е. через девять лет после своего консулата, Цицерон, распеваемый честолюбием, обратился с посланием к другу Луцию Луккею, в котором предложил ему без обиняков написать историю его консульства в качестве отдельного труда, а не части истории гражданских войн<sup>28</sup>. Послание это интересно не только как свидетельство патологического честолюбия Цицерона, но и как документ, позволяющий понять причину сдержанного отношения Саллюстия к Цицерону. Цицерон навязывал Луцию Луккею не только форму труда, но и его панегирический характер. Видимо, не будучи уверен в том, что его адресат примет поручение, Цицерон предусмотрел возможность самоапофеоза «по примеру многих и славных мужей», хотя и считал это не совсем удобным: «В повествовании такого рода кроются следующие недостатки: когда пишешь о самом себе, то необходимо и быть скромнее, если есть за что похвалить, и пропустить, если есть за что поставить в вину. Вдобавок меньше веры, меньше авторитета». Короче говоря, Цицерон добивался такого труда, в котором он предстал бы в ореоле политической славы. Луций Луккей такого труда не написал. Почему же мы должны

---

<sup>28</sup> Cic. Fam., V, 12.

ожидать, что такое произведение мог написать Саллюстий?

Те части «Заговора Катилины», которые давали повод для обвинения Саллюстия в тенденциозном умолчании за слуг Цицерона, могут рассматриваться и в совершенно ином плане: как стремление историка очистить великого оратора от обвинений в самоуправстве и политическом лицемерии, которые он на себя навлек. Рассмотрим эти моменты по порядку. После речи Цезаря на заседании сената, согласно Саллюстию, «сенаторы стали подавать голоса один за другим в пользу того или иного предложения» (Cat., 52, 1). Саллюстий не упоминает, что среди выступавших был консул 63 г. до н. э. Цицерон. В этом, пожалуй, можно было усмотреть проявление к нему вражды, если бы не сохранилась эта самая речь, далеко не делающая Цицерону чести.

Перечитывая ее, трудно понять, какое из предложений он поддерживает. Такое же впечатление она произвела на слушателей, и Децим Силан понял речь Цицерона в том смысле, что тот поддерживает Цезаря и начал отрекаться от своего первоначального взгляда и доказывать, что под высшей мерой наказания он понимал тюремное заключение. Опустив упоминание об этой речи, рисующей трусость и половинчатость Цицерона, Саллюстий фактически оказал Цицерону посмертную дружескую услугу.

По той же причине Саллюстий умолчал о речи Цицерона в защиту вновь избранного консула Лициния Мурены. Речь эта на редкость бессодержательна и изобилует плоскими остротами<sup>29</sup>. Помимо этого, у Цицерона, доживши он до выхода труда Саллюстия, не было бы основания на него обижаться, поскольку опущены эпизод с Муреной и речи других выдающихся ораторов и политических деятелей Марка Порция Катона, Квинта Гортензия и Марка Лициния Красса.

Умолчание Саллюстия о речах Цицерона перед народом также не может рассматриваться как проявление недоброжелательства историка. Излагать содержание этих речей не имело смысла, поскольку они были уже изданы, а изменение отношения плебса к Цицерону передано в достаточной мере объективно и доброжелательно: «[Плебеи] после раскрытия заговора переменяли свое мнение и, осыпая проклятиями замыслы Катилины, стали до небес пре-

---

<sup>29</sup> Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1972, с. 164.

возносить Цицерона: они радовались и ликовали так, как будто им удалось стряхнуть с себя цепи рабства» (Cat., 48, 1).

Коротко и бесстрастно рассказав о казни катилинариев, которой руководил консул, Саллюстий опускает известную нам из Плутарха картину народного апофеоза в ночь казни: «Наступил уже вечер, и Цицерон через форум возвращался домой. Граждане уже более не хранили молчания и провожали его без соблюдения всякого порядка, но, наоборот, всюду, где он ни появлялся, встречали его криками и рукоплесканиями, провозглашая его избавителем отчизны и ее основателем»<sup>30</sup>. Плутарх, как биограф, мог заинтересоваться этими красочными деталями, но Саллюстий не забывал, что тот же народ, который едва ли не носил Цицерона на руках, некоторое время спустя забрасывал его камнями за незаконную казнь римских граждан. Историк мог бы рассмотреть и ту и другую ситуацию и высказать в духе Полибия несколько гневных слов по адресу непостоянной и изменчивой толпы, но он пренебрег этой возможностью, как нам кажется, чтобы не выставить Цицерона в невыгодном для него свете.

Единственное место, производящее впечатление инсинуации — это передача слышанного самим Саллюстием обвинения Красса в адрес Цицерона, что тот через подставное лицо обвинил его в соучастии в заговоре (Cat., 48, 8). Но и здесь нет никакого стремления выставить Цицерона клеветником, а скорее присутствует восхищение его политическим благоразумием. Ведь сам Саллюстий не скрывает того, что за участниками первого заговора Катилины стоял Красс, «надеявшийся в случае успеха легко занять первое место среди заговорщиков» (Cat., 17, 7). Очевидно, такие же слухи курсировали и в годы второго заговора, но Цицерон сам лично не предпринял никаких действий против могущественного Красса, хотя и дал ему понять, что его позиция ясна.

Рассмотрение Саллюстиевых оценок Цезаря, Катона, Цицерона позволяет утверждать, что историк не питал особых симпатий или антипатий ни к одному из этих политических деятелей. В его задачу не входило ни возвеличение, ни умаление их заслуг. У каждого из них он видел и положительные стороны и недостатки. Также нет никаких оснований считать, что Саллюстий сочувствует какой-

---

<sup>30</sup> Plut. Cic., 22.

либо одной политической партии. Заявляя во введении, что он свободен «от надежд, страха и духа партий», он в ходе изложения подтверждает это своим осуждением политической борьбы. Особенно показательна следующая его оценка: молодые люди «начали своими обвинениями против сената пропагандировать плебеев, а потом разжигать их еще более подачками и обещаниями. Такими приемами они приобретали себе популярность и влияние. Против них всеми средствами боролась большая часть нобилитета, стремившаяся под видом защиты прав сената расширить границы своего влияния... одни притворялись, будто защищают права народа, другие — будто стремятся поднять на надлежащую высоту авторитет сената, все вместе, что они отстаивают общественное благо, на деле же каждый боролся за свое собственное могущество» (Cat., 38, 1—3).

Подчеркивая свою объективность, Саллюстий имеет в виду отношение к двум политическим группировкам, добившимся власти и богатства под лживыми лозунгами. Мы вполне можем понять позицию человека, получившего все в ходе гражданских войн и не ожидавшего от их продолжения для себя и для своего класса ничего хорошего. Но эта объективность была, разумеется, относительной, поскольку Саллюстий несколько не сочувствовал римским низам и оставил классическое по своему лицемерию определение их положения: «Ведь всегда в государстве неимущие завидуют состоятельным, ставят на пьедестал негодяев, с ненавистью относятся к старому, жадно ловят новое и, чувствуя непреодолимое отвращение к положению, в котором находятся, легкомысленно живут за счет мятежей и беспорядков» (Cat., 37, 3). Объективность историка, таким образом, немедленно улетучивается, как только речь заходит об имущественных классовых интересах, которым угрожала безрассудная, с точки зрения историка, борьба популяров и оптиматов.

Даже самые непримиримые критики Саллюстия при всем желании не могли отнести «Югуртинскую войну» к числу «партийных брошюр» и должны были заметить, что по полноте фактического материала и логике исторического исследования это сочинение выше «Заговора Катилины». Сам Саллюстий следующим образом определяет цель своей монографии: «Я собираюсь написать о войне, которую римский народ вел против Югурты, царя Нумидийского, во-первых, потому, что это была большая и жесто-

ченная война и велась с переменным успехом, во-вторых, потому, что тогда впервые было оказано противодействие высокомерию знати» (*tunc primum superbiae nobilitatis obviam itum est*-Jug., 5, 1). Таким образом, в авторском определении труд имеет два аспекта, — один внешний, военный, другой — внутренний и политический. Выбор Саллюстием Югуртинской войны как темы для исследования связан, очевидно, с тем, что она позволяла наиболее наглядно и убедительно показать, как сказывался внутренний разлад в римском обществе на внешнем положении римского государства. Этим попутно объясняется то, почему историк не сосредоточил своего внимания на времени Гракхов.

Саллюстий отдавал себе отчет в том, что Гракхи способствовали освобождению народа и раскрытию преступления олигархов и что именно в деятельности народных трибунов истоки того внутреннего конфликта, который позднее вылился в гражданские войны (Jug., 42, 1). Однако деятельность Гракхов не позволяла достаточно глубоко раскрыть внешнюю и военную сторону римской истории в связи с внутренней историей Рима. Помимо того, сам сюжет Югуртинской войны мог привлечь Саллюстия тем, что он был лично знаком с театром военных действий — последний был изучен им во время пропреторства в Нумидии, полученного им с помощью Цезаря за два года до Мартовских ид.

Усложнение задач исследования по сравнению с первой исторической работой потребовало от Саллюстия более серьезного изучения источников. Некоторые из них он называет сам. Это исторический труд Луция Сизенны, мемуары Эмилия Скавра, Рутилия Руфа, Л. Корнелия Суллы и книги царя Гиемпсала в греческом или латинском переводе<sup>31</sup>. Не исключено, что ему была знакома и работа Семпрония Азеллиона, охватывающая события римской истории со 134 по 91 гг. до н. э. Азеллион был в полной мере предшественником Саллюстия, поскольку он первым порвал с анналистической традицией изложения истории от основания Рима и рассказал о своем времени.

Труд Саллюстия о Югуртинской войне неоднократно использовался учеными модернизаторского направления для подтверждения тезиса о том, что Саллюстия история интересовала лишь как форма деятельности в интересах

---

<sup>31</sup> Sall. Jug., 45, 1; 67, 3; 108, 3; 113, 1.

партии цезарианцев. С точки зрения Моммзена, Саллюстий занялся давним «колониальным скандалом» для доказательства полной неспособности олигархической партии управлять государством. Также и американский историк К. Фритц полагает, что в «Югуртинской войне» Саллюстий выступает как противник нобилитета и допускает возможность «бессознательной пропаганды в интересах популяр»<sup>32</sup>.

Саллюстий беспощадно вскрывал распущенность римского нобилитета, его корыстолюбие, эгоизм, забвение интересов государства. Но при чтении «Югуртинской войны» не создается впечатления, что один нобилитет повинен в несчастьях римского государства и положение бы улучшилось коренным образом, если бы власть перешла к другой политической партии — к популярам. Саллюстий дает возможность читателям понять аргументацию событий с точки зрения популяров в сконструированной им речи Меммия (Jug., 31). Меммий раскрывает картину возвышения нобилитета в ходе его расправы над защитниками народа Гракхами и их сторонниками, обвиняет народ в малодушии и беспечности, приведших к победе олигархов, захвату ими власти в государстве. Однако нет никаких оснований думать, что автор разделяет взгляды этого борца с нобилиями. В следующем за речью экскурсе в историю двадцатилетия, предшествующего Югуртинской войне, Саллюстий излагает свою точку зрения на обстоятельства, приведшие нобилей к власти: «Разделение гражданской общины на партию народную и сенатской знати и сопровождающий его упадок нравов и развитие дурных страстей возникли в Риме немногими годами ранее описываемых событий, как следствие мирного досуга и изобилия всего того, что люди склонны считать самым главным. Действительно, до разрушения Карфагена народ и Сенат римский спокойно и умеренно распределяли между собой заведывание государственными делами, и между гражданами не существовало борьбы ни из-за славы, ни из-за господства. Страх перед врагами удерживал добрые нравы в государстве. Но когда умы освободились от этого страха, сами собой появились всегдашние спутники успеха — распущенность и высокомерие... Знать стала злоупотреблять своим влиянием, народ своей свободой; каждый стремился захватить,

<sup>32</sup> Von Fritz K. Sallust and the Attitude of the Roman Nobility at the Time of the Wars against Jugurthe, 112—105 B. C.—ТАРНА, 1943, 74, p. 134—168.

увлечь, похитить все для себя. Все распалось на две части, государственный строй, потрясаемый борющимися, расшатался (Jug., 41, 1—5).

Как видим, и в «Югуртинской войне» историк не отдает своих симпатий ни знати, ни народу. Он не обвиняет какую-либо одну партию в несчастьях римского государства. Источником бед является само разделение римского государства на враждующие партии в ходе не зависящего от отдельных лиц и их группировок исторического процесса, неизбежно ведущего к гражданским войнам. Какой же Саллюстий предлагает выход? Вернуться к старинной бедности эпохи римских царей? Отказаться от провинций? Срыть виллы? Засыпать пруды, распустить рабов? Это было бы нереалистичным и совершенно неприемлемым решением. Ход истории необратим. Понимая это, Саллюстий не предлагает какого-либо социального или политического решения конфликта. Но будущее не является, по мнению историка, беспросветным. У каждого римлянина-гражданина есть индивидуальный выход — отказаться от погони за властью и богатством, удовлетворяющей низменные потребности тела или испорченного духа, очистить себя от скверны политической борьбы и заняться развитием собственного духа и таланта.

Эта жизненная позиция, ставшая для определенных слоев римского общества линией общественного поведения, как известно, была выработана в годы гражданских войн, когда не было недостатка в трагических примерах опасности обогащения и политического честолюбия. Исследования И. М. Гревса убедительно показали, что в эти годы квиетизм был линией социального поведения крупных землевладельцев<sup>39</sup>. К этой группе принадлежал и Саллюстий, биография которого весьма типична для понимания социальных изменений в Италии эпохи гражданских войн. Выходец из семьи сабинского происхождения, члены которой до него не занимали сенатских должностей, он сделал бурную и даже скандальную карьеру. Не сумев сохранить в годы своей политической деятельности честную репутацию, он нажил огромное состояние. Известны его роскошные сады в самом Риме (*horti sallustiani*), ставшие впоследствии императорской собственностью, его вил-

<sup>39</sup> Гревс И. М. Очерки по истории римского землевладения во времена империи. Помпоний Атик (друг Цицерона) как представитель особого типа земельных магнатов.— ЖМНП, 1896, февр., с. 297—340; июль, с. 1—66; сентябрь, с. 76—140.

ла в Тибуре, купленная у Цезаря, владения в Цизальпийской Галлии, а также и в Африке.

Инективы Саллюстия против богатства казались современникам верхом лицемерия так же, как впоследствии подобная проповедь Сенеки против роскоши. И вряд ли историк и философ могут быть оправданы с этической точки зрения. Но если отвлечься от этой моральной стороны, нельзя будет не согласиться, что позиция человека, насытившегося богатством и не стремящегося к политической власти, обеспечивала не только личную безопасность, но и сравнительную объективность в оценках. Она проявляется в отношении Саллюстия к виднейшим представителям римской аристократии, о продажности которой он говорит столь определенно — к Метеллу и Сулле (еще не ставшему героем гражданских войн).

Может показаться странным, что «цезарианец» Саллюстий, относясь с уважением к вождям партии оптиматов, не испытывает особого пиетета к Гракхам, основателям той партии, к которой принадлежал Цезарь. Это связано с тем, что Гракхи, в отличие от Метелла, были зачинателями ненавистных гражданских войн. Отмечая, что Гракхи выступали за справедливое дело и руководствовались лучшими намерениями, Саллюстий осуждает их за то, что они действовали слишком решительно и прибегли к насилию — «для хорошего гражданина лучше быть побежденным, чем победить неправду злом» (Jug., 42, 1—2).

В последние годы жизни Саллюстий приступает к работе над «Историями», своим самым совершенным произведением<sup>34</sup>. Саллюстий начинает изложение событий римской истории с 78 г. до н. э., рассматривает свой труд как продолжение сочинения Луция Сизенны о гражданских войнах марьянцев и сулланцев; «Истории» завершались событиями 67 г. до н. э., т. е. войной Помпея с пиратами.

Предисловие автора к «Историям», судя по сохранившимся отрывкам, давало наиболее полное представление о его исторических и философских взглядах<sup>35</sup>. Если в «Заговоре Катилины» Саллюстий просто сетовал на отсутствие у римлян в области историографии талантов (Cat., 8, 5), то в «Историях» его историографические оценки ста-

<sup>34</sup> Отрывки см.: *Historiarum reliquiae*, ed. Maurenbrecher. Leipzig, 1891. Русский перевод и комментарий В. С. Соколова.— ВДИ, 1950, 1, с. 271.

<sup>35</sup> Сравнение предисловий трех исторических трудов Саллюстия см.: Egermann F. Op., cit.

новятся более конкретными и формулировка задач исторического труда более определенной. «История должна быть краткой в изложении и ясной, и достоверной» (Hist., 1, 4) — этот критерий Саллюстий прилагает к историческим трудам своих предшественников, не находя ни одного, который бы в полной мере отвечал его идеалу. «Origines» Катона Старшего были краткими и ясными, но не достоверными из-за явного недоброжелательства автора к политическим противникам. Конкретизируя эту оценку в другом фрагменте, Саллюстий писал: «За продолжительный век он (т. е. Катон Старший. — А. Н.) написал много неправильного о хороших делах, представив их в худшем виде» (Hist., 1, 5). Катону противопоставляется Гай Фанний, автор «Анналов», доведенных, по всей видимости, до Югуртинской войны. Судя по контексту изложения Викторинном мысли Саллюстия (Hist., 1, 5), труд Г. Фанния не обладал краткостью и ясностью, присущими «Origines» Катона, но зато отличался несвойственной Катону правдивостью, а сам Саллюстий ставил своей целью объединить достоинства Катона и Фанния в своем историческом труде.

Ссылки на Катона и Фанния показательны в том отношении, что позволяют понять изолированное, благодаря состоянию, в котором до нас дошли «Истории», высказывание Саллюстия о своей собственной позиции в оценках гражданских войн: «Принадлежность к противной партии в гражданской войне не отвратила меня от истины» (Hist., 1, 6). Очевидно, Саллюстий противопоставляет себя Катону, служившему своей партии, и считает достойными подражания «Анналы» Фанния, написанные им после того, как тот отошел от популяров и стал занимать независимую от них политическую позицию.

Так же как и в «Заговоре Катилины», за введением, характеризующим цели автора, в «Историях» следует экскурс в историческое прошлое Рима. Он играет ту же роль — ввести читателя в понимание событий современности. Саллюстий в последнем труде уточняет свою периодизацию римской истории и конкретизирует отношение к различным ее периодам. Если в «Заговоре Катилины» вся ранняя эпоха римской истории характеризуется чертами идиллического благополучия, то в «Историях» вносится существенная поправка: «справедливое и умеренное правление» продолжалось, по мнению Саллюстия, «до тех пор, пока не были изжиты страхи перед Тарквинием и тягостная

война с Этрурией» (Hist., 11). Саллюстий имеет в виду окончание войны с Порсеной, когда исчезла опасность восстановления на царском престоле Тарквиния Гордого. «Затем патриции стали угнетать плебе деспотическим правлением: распоряжались их жизнью и личной неприкосновенностью по образцу царей, сгоняли с земли и, отстранив всех других, одни стали управлять государством. Плебс, возмущенный такими жестокостями, а особенно подавленный бременем долгов, так как при непрерывных войнах он нес тягости военной службы и денежного обложения, вооружившись, занял священную гору и Авентин, тогда-то он и добился народных трибунов и других прав для себя» (Hist., 11). Таким образом, ambitio и avaritia появились задолго до времени гражданских войн и уже в древнейшую эпоху были причиной гражданских распрей. И лишь в Пунической войне раздоры и борьба стихли словно бы для того, чтобы после ее окончания возродиться с новой силой (Hist., 12). Изложенный отрывок не говорит о каких-либо существенных изменениях в политических и исторических взглядах Саллюстия. Он не обнаруживает каких-либо новых симпатий к плебеям и не открывает каких-либо новых причин, объясняющих гражданский разлад. Нельзя говорить и о том, что Саллюстий в полной мере отказывается от идеализации римской старины. Но сфера этой идеализации ограничивается лишь царской эпохой, следующим за нею десятилетием войны с Порсеной и временем Второй Пунической войны. Таким образом, самые тяжелые периоды римской истории оказываются в то же время наиболее благоприятными с точки зрения внутривнутриполитических отношений.

Анализ других отрывков «Истории» также свидетельствует о том, что не произошло какой-либо эволюции политических воззрений Саллюстия, и он в конце своей историко-литературной деятельности высказывал те же взгляды, что и в ее начале. В сконструированных Саллюстием речах Марка Эмилия, Филиппа, Гая Котты и Лициния Макра было бы ошибочно видеть развитие Саллюстием его собственных убеждений. Ораторы, представители партии популяров и оптиматов, исходя из своих интересов, клеймят сенат или, напротив, обличают своеволие народа. И чистой случайностью является то, что сохранилось три речи популяра и только одна речь оптимата.

Понимание исторических и политических взглядов Саллюстия вряд ли возможно без выяснения его зависимости

от греческих историков. В трудах Саллюстия не упоминается ни один греческий автор по имени. Лишь в общей форме Саллюстий говорит об «историках с великим дарованием», сделавших деяния афинян всемирно известными (Cat., 8, 3). Это явный намек на труды Фукидида и Ксенофонта. О том, что первый из этих историков оказал на Саллюстия огромное влияние, явствует из суждений античных авторов. Веллей Патеркул в одном из своих кратких очерков развития римской культуры называет Саллюстия подражателем Фукидида (II, 36). Квинтилиан, рассматривая параллельное развитие римской и греческой историографии, сравнивает развитие Саллюстия с Фукидидом, а Ливия с Геродотом (Inst., X, 17).

Выше мы уже останавливались на общих причинах обращения римских историков к опыту греческой историографии. Теперь после изучения содержания трудов Саллюстия вполне уместно рассмотреть этот опыт более конкретно, и, прежде всего, в отношении их формы.

Бесспорно влияние стиля Фукидида на стиль автора «Заговора Катилины» и «Югуртинской войны». Критик Фукидида Дионисий Галикарнасский отметил употребление им «слов темных, устаревших, трудных для понимания» (Thuc., XXIV). Это же характерно для Саллюстия, которого обвиняли в заимствовании редких слов у старинных латинских авторов. Один из врагов Саллюстия, вольноотпущенник Помпея Линей, называл историка «бессовестнейшим похитителем слов у Катона» (Suet. Gram., X). Действительно, текстологический анализ показывает наличие в трудах Саллюстия архаических слов<sup>36</sup>. И в то же время обвинение Саллюстия в краже слов у Катона является столь же абсурдным, как если кто-либо обвинил современного литератора в краже слов у Даля. Античность вообще не знала понятия авторского права, и за отсутствием словарей произведение древнего автора служило последующим писателям своего рода лексическим справочником. Оживляя архаический лексический слой, Саллюстий, как никто другой из историков, обогащал латинский литературный язык, так же как в свое время с помощью того же приема Фукидид добился обогащения литературного аттического диалекта.

Авторская индивидуальность ярче всего проявляется в конструкции предложения. И здесь даже самый ярый не-

<sup>36</sup> Lebek W. D. Verba Prisca. Brussel, 1970.

доброжелатель Саллюстия не смог бы выявить зависимости его от Катона, если бы последнюю можно было истолковать как порок. Насколько кристально проста фраза Катона, настолько она запутана у Саллюстия, отражая сложность и многозначность самой эпохи. С другой стороны, обнаруживается бесспорное сходство конструкций фраз у Саллюстия и Фукидида, которое может говорить лишь о том, что Саллюстий вчитался в «Историю Пелопоннесской войны».

У Фукидида Саллюстий научился концентрировать внимание читателя на наиболее существенном, опуская второстепенное. Благодаря этому создается драматизм исторических ситуаций, в котором отражается сущность конфликта.

Зависимость Саллюстия от Фукидида явствует из той роли, какую играют в его произведениях отступления. Подобно афинянину, Саллюстий прерывает свой рассказ для рассуждений на моральные или философские темы, описания театра военных действий или географических и этнографических описаний. Более или менее подробные экскурсы в древнейшую историю Рима, в этнографию и географию Нумидии мы встречаем в «Заговоре Катилины» и «Югуртинской войне». В «Историях» имеются экскурсы в географию и историю Сардинии (II, 1—6), в историю Малой Азии и Понта (V, 71—86).

К Фукидиду в конечном счете восходит и характерный для Саллюстия прием конструирования речей, особенно многочисленных в «Историях». При этом Саллюстий, как и Фукидид, не ставит перед собой в большинстве случаев невыполнимую цель восстановить подлинный текст речи, а стремится правильно передать общий смысл сказанного в связи с обстоятельствами дела и характером оратора.

«История Пелопоннесской войны» была для Саллюстия образцом исторического труда. Но оценка Саллюстием гражданских распри вряд ли может быть объяснена непосредственным влиянием Фукидида. Здесь сказалось сходство социальных позиций историков и в известной мере судеб. Подобно тому, как Фукидид, находясь в изгнании, имел возможность более объективно судить о столкновении двух союзов государств, Саллюстий, добровольно (а может быть, и не по своей воле), выйдя из политической игры, также занял, как он сам считал, необходимую для историка позицию стороннего наблюдателя.

В той же мере, как в форме исторического труда Сал-

люстий зависел от Фукидида, его морально-философская концепция зависела от Платона. Впервые это установил Ф. Эгерман, проанализировавший предисловия исторических произведений Саллюстия<sup>37</sup>. К Платону восходит все, что касается дуализма тела и души (см. выше, с. 158). К Платону восходит концепция государства и его «порчи». Вопрос заключается лишь в том, каковы были источники этого влияния. По мнению Эгермана, философские части труда Саллюстия восходят к двум источникам: непосредственно к Платону и к Дикеарху через трактат Цицерона «О государстве»<sup>38</sup>. Однако не исключен другой источник — не дошедший до нас исторический труд Посидония, в котором теория «порчи» государства развивалась на близком Саллюстию примере римской истории.

Умерший за четыре года до битвы при Акции Г. Саллюстий Крисп был последним по времени историком римской республики. Он не дожил до тех лет, когда историческая истина, по выражению Тацита, в равной мере искажалась лестью и ненавистью (Hist., I). И если в его произведениях и отразились определенные политические симпатии или антипатии, то это было мнение римского гражданина, а не подданного. Саллюстий был одним из последних свидетелей крушения римской республики. Он сумел ярко описать борьбу политических партий и понять опасность, исходящую от гражданских войн. Он не осознавал бесперспективности существования римской республики и не был провозвестником принципата, как его хотели считать те, кто сочинил от его имени «Увещания к Цезарю-старцу». Саллюстий был противником тирании. Уже в составленной историком речи Цезаря на заседании сената, решавшем судьбу катилинариев, можно прочесть между строк предупреждение о грозящей Риму опасности. Также и в «Историях» имеются многочисленные намеки на события II триумvirата.

В своих исторических трудах Саллюстий апеллировал не к оптиматам, не к триумвирам, а к римскому народу, пытаясь возбудить в нем совесть и мужество. К Саллюстию восходит гражданственная линия римской историографии, вынужденная уйти в годы правления префекторов Августа в глубочайшее подполье и обнаружившая свое существование лишь в начале века Антонинов. Недаром

<sup>37</sup> Ibid, S. 87 sqq.

<sup>38</sup> Ibid, S. 23—81.

II. Корнелий Тацит, первым словивший лед вынужденного молчания, называет Саллюстия «наиболее зрелым автором римской истории» (Апп., III, 30).

Как римлянин плоть от плоти, как человек высокого имущественного положения, как писатель эпохи гражданских войн, Саллюстий не мог быть беспартийным, если под «беспартийностью» понимать забвение классовых интересов. Но это не означает, что он был приверженцем одной из группировок господствующего класса, которые вели борьбу за власть после смерти Цезаря. Ни Брут с Кассием, ни триумвиры не могли рассчитывать на его поддержку. Он продемонстрировал это тем, что отошел от политической деятельности. «Саллюстиевы сады», однако, не стали убежищем богача, приверженца вульгаризированной эпикурейской философии. Подобно садам Академии или Ликеея, они оказались местом философских раздумий, охвативших историю римского народа в целом, но в особенности последнее ее трагическое столетие.

\*       \*  
\*       \*

Как и многие другие апологеты римского господства, Тит Ливий не мог себя назвать коренным римлянином. Он родился в муниципии Патавии (ныне Падуя) в 59 г. до н. э.<sup>39</sup> Патавийцы были потомками венетов, ко времени жизни историка потерявшими свой язык. Патавий был не только значительным муниципием Цизальпийской Галлии, но и одним из наиболее древних городов Италии, если верить легенде. Его основание приписывалось троянцу Антенору, будто бы переселившемуся в Италию, но обосновавшемуся, в отличие от Энея, на Адриатическом побережье<sup>40</sup>. Параллелизм мифических судеб муниципия Патавия и Рима был предметом особой гордости патавийцев и причиной их интереса к тому, что римляне называли *origines*, т. е. к началам государственности.

Не меньшую роль в решении Ливия заняться историей должно было сыграть занимаемое им на его родине общественное положение. Нам известно, что Патавий был самым важным муниципием в Северной Италии и там во вре-

<sup>39</sup> Эту дату дает поздний историк Иероним (Hieronimus Chron.—Messala Corvinus orator nascitur et T. Livius).

<sup>40</sup> Verg. Aen. I. 247; Plin. N. H., III, 130; Strab., V, I, 4; XII, I, 53.

мена Августа насчитывалось пятьсот римских всадников, более чем в любом другом городе Италии, за исключением Рима (Strab., V, 1, 7). Богатые патавийцы в высшей степени отрицательно относились к гражданским войнам, не только угрожавшим их благосостоянию, но и разрушавшим его социальную основу. В этом отношении интересен эпизод, связанный с действиями легата Антония, будущего историка Азиния Поллиона в 41 г. до н. э.. Патавийцы не захотели снабдить его деньгами и оружием, необходимым для военных действий против Октавиана. Тогда Азиний Поллион обратился через их голову к рабам, обещав им свободу и вознаграждение за донос на господ. Но рабы не последовали этому призыву, предпочтя верность господам свободе<sup>41</sup>.

Этот ставший знаменитым эпизод, рисуемый патавийцев людьми, сумевшими с честью выйти из потрясений гражданских войн и сохранить без помощи извне власть над своими рабами, может объяснить социальную и политическую позицию Ливия. Сформировавшийся в годы гражданских войн, чреватых для обеспеченных людей всяческими опасностями, в том числе и восстаниями рабов, Ливий сохранил на всю жизнь ненависть ко всяким социальным переменам и признательность к тем, кто устранил угрозу социальных перемен.

Вся римская история до 9 г. до н. э. была изложена Ливием в 142 книгах, от которых дошло лишь 35. Труд такого объема был по плечу лишь человеку, для которого занятие историей являлось делом всей жизни, а не временным увлечением. Ливий был первым римским «профессиональным» историком. В отличие от своих предшественников Г. Саллюстия Криспа и Азиния Поллиона, не говоря уже о младших анналистах, Ливий никогда не занимался политической деятельностью. Он не командовал войском, не был наместником провинции, не выполнял дипломатических поручений. История, и только история, была его «провинцией», сферой деятельности, в которой могло проявиться понимание политики, знание военного дела и дипломатии. Профессионализм в полной мере отвечал духу режима, фактически отнявшего у римских граждан самостоятельную роль в политической жизни и предоставившего решение государственных вопросов одному человеку. Август окружил себя знатоками своего де-

---

<sup>41</sup> Macrob. Sat., I, 11, 22.

ла, считая их винтиками государственного организма, а не избранниками суверенного народа. Каждому была предоставлена особая форма деятельности — военное дело, архитектура, поэзия, история... Такого рода разделение обязанностей при материальном поощрении со стороны государства имело определенные преимущества, особенно в сферах государственного управления. Но оно накладывало на литературное творчество ограничения, имевшие отрицательные последствия.

Сфера истории вследствие своей временной удаленности, казалось бы, должна была предоставить каждому, в нее ушедшему, полную самостоятельность. Но неослабный контроль государства распространялся не только на настоящее, но и на прошлое, в котором хотели видеть прообраз современности и средство воспитания сограждан.

Из указаний древних авторов мы знаем, что Август покровительствовал Ливию. Тацит обозначает их отношения словом «дружба»<sup>42</sup>. О близости Ливия к императорскому дому косвенным образом свидетельствует то, что он общался с родственником Августа Клавдием и рекомендовал ему заниматься историей<sup>43</sup>. Нет сомнений, что Август находился в курсе работы Ливия, следил за ее ходом, был знаком с ее результатами. Об этом можно заключить из свидетельства самого Ливия о сообщении ему Августом содержания неизвестной надписи на льняном панцире из храма Юпитера Феретрия<sup>44</sup>. В то же время известно, что Август называл Ливия «помпейцем»<sup>45</sup>. Это не следует рассматривать как политическое обвинение, поскольку Помпей считался борцом за республику, а Август после ее сокрушения выставлял себя восстановителем республики. Но после Августа и установления террористического режима Тиберия и Калигулы республиканские симпатии труда Ливия стали казаться опасными. Очевидно, поэтому Калигула приказал изъять его из библиотек под предлогом многословия и небрежности.

Место Ливия в ряду других представителей античной историографии определяется его отношением к источни-

---

<sup>42</sup> Tac. Ann., IV, 34, 3.

<sup>43</sup> Suet. Claud., 41, 1. Став императором, Клавдий последовал этому совету и написал историю этрусков и карфагенян.

<sup>44</sup> Liv., IV, 20. Dessau H. Livius und Augustus.—Hermes, 1906, 41, S. 142.

<sup>45</sup> Tac. Ann., IV, 34, 3; T. Livius Gn. Pompeium tantis laudibus tulit, ut pompeianum eum Augustus appellavit.

кам. И здесь он дает повод для неблагоприятных суждений. В его время были еще доступны «льняные книги» и «великие анналы», но Ливий к ним не обращается, хотя бы для проверки фактов, не говоря уже об извлечении нового материала. Труд Ливия пестрит ссылками на предшественников, что как будто говорит об его начитанности в анналистике. Но как он пользовался их произведениями? Знакомился ли с ними перед тем как приступать к написанию той или иной части своего труда? Или читал их еще в юности и ссылался на них по памяти, как нередко поступали отдельные гуманисты в эпоху Возрождения? Комбинировал ли Ливий указания источников или следовал за одним автором, дополняя его указания сведениями других?

При сравнении посвященной Второй Пунической войне XXI книги Ливия с соответствующей частью труда Полибия установлено, что Ливий следовал за Полибием, кое-где сокращая текст, а кое-где расширяя его и расцветивая с помощью своей риторической палитры<sup>46</sup>. Но поступал ли он таким же образом, когда излагал раннюю историю Рима? И кто тогда был его «Полибием?»

Выясняя последний вопрос, мы можем опереться на довольно многочисленные ссылки Ливия на авторитеты. Но и в этом отношении у нас нет уверенности, что за ссылкой следует автор, которого читали, а не просто знают понаслышке. Так, Ливий называет «древнейших авторов» и упоминает некоторых из них поименно (Фабия Пиктора и Л. Кальпурния Пизона). Но есть основания полагать, что написанные по-гречески «Анналы» Фабия Пиктора не были знакомы Ливию непосредственно.

Основной массой своих сведений по ранней римской истории Ливий обязан трем историкам — Г. Лицинию Макру, Валерию Анциату и Кв. Элию Туберону. Первый из них был популяром, решительным противником Суллы и сулланского режима. В своих «Анналах» он восхвалял доблесть плебеев раннего Рима, клеймил жестокость и бесчеловечность патрициев. В борьбе V в. до н. э. он видел прототип тех столкновений, которые происходили в его время, в 70-х гг. I в. до н. э. Лициний Макр не только пользовался сочинениями предшественников, но и обращался к первоисточникам, на что обратил внимание Ливий (IV, 7,

<sup>46</sup> Итог исследований, посвященных методу работы Ливия над трудом Полибия см.: Walsch P. G. *Livy. His Historical Views and Methods*. Cambridge, 1970, p. 46.

12; IV, 20, 8; IV, 23, 2). В то же время Ливий указывает и на недостаток Лициния: восхваление им своего рода (VII, 9, 5). Другой главный авторитет Ливия, Валерий Анциат, упомянут им 35 раз. Валерий принадлежал к патрицианскому роду Валериев, игравшему в ранней римской истории выдающуюся роль. Щедро черпая у Валерия сведения по внешней и внутренней истории раннего Рима, Ливий резко критикует его преувеличения и вымыслы. К Валерию восходят те места в труде Ливия, где восхваляются авторитет сената и патрицианские доблести. Третий историк, Кв. Элий Туберон, упоминается Ливием лишь один раз в связи с использованием им труда Валерия Анциата (IV, 23, 1). Но есть основания полагать, что значение «Анналов» Туберона как источника Тита Ливия не определяется числом ссылок. Некоторые исследователи полагают, что Туберон, скомбинировавший сведения Лициния Макра и Валерия Анциата, и был главным источником Ливия и что Ливий в изложении ранней римской истории следовал за ним так же, как в рассказе о Пунических войнах за Полибием.

Труд Ливия завершает развитие римской историографии республиканской эпохи и воплощает ее наиболее характерные черты. Подобно своим предшественникам — Ливий пишет римскую историю. Другие народы и место Рима во всемирной истории его не занимают. Это главная черта римской историографии, начиная с анналов древних понтификов, представлявших собой записи примечательных событий в городе Риме. Соседи Рима могли быть упомянуты лишь постольку, поскольку они отваживались совершить нападение на Рим или были вынуждены заключить с ним союз, а Италия присутствует как фон, на котором разворачивается возвышение Рима. Сообщая в связи с прибытием в Италию Энея об этрусках, «чья слава наполнила и сушу, и даже море вдоль всей Италии от Альп до Сицилийского пролива» (I, 2, 5), Ливий не имеет правильного представления ни о времени этрусского господства, ни о точных границах этрусских владений. Обычаи этрусков, самнитов и других народов Италии интересуют Ливия лишь постольку, поскольку они были восприняты римлянами. В этом сказывается отличие римского анналиста от греческого историка, например, Геродота, проявлявшего интерес к быту и религии египтян, финикийцев, персов, уверенного в культурном приоритете «варваров».

Римская история у Ливия — это по преимуществу по-

литическая история. Смена царей и консулов, войны с соседями — вот ее основное содержание. Новое, что вносит Ливий по сравнению со своими предшественниками, — это многочисленные подробности религиозного и культурно-исторического характера, но они опять-таки касаются преимущественно римского народа.

Исходным пунктом изложения римской истории для Тита Ливия является «основание Рима». Такова традиция римской историографии, которой не мог пренебречь даже Тацит, поставивший своей целью рассказать о правлении преемников Августа. В начальной главе своего труда он кратко рассказывает о римских судьбах со времени царей. Для Тита Ливия древнейшая история Рима, однако, не просто исходный пункт изложения историка. В этой эпохе, как он заявляет во введении, он отдыхает душой от «зрелища бедствий, свидетелем которых столько лет было наше поколение» (*Praefatio* 5). Говоря о бедствиях, Ливий имеет в виду гражданские войны. Подобная их оценка не может показаться неожиданной. Гражданские войны получили официальное осуждение, несмотря на то, что благодаря им Август устранил своих соперников и пришел к власти. Осуждая гражданские войны, Август не только провозглашал себя восстановителем мира, но и объявлял амнистию тем участникам гражданских войн, которые сражались против него. Обращение историка к начальным временам Рима объяснялось не только желанием забыть бедствия недавнего прошлого, но и определенными политическими мотивами, о которых историк предпочел не распространяться<sup>47</sup>. Они могут быть выявлены при анализе законодательства Августа и памятников литературы его времени. Обращение к отдаленному прошлому отвечало реставраторской политике принцепса и его стремлению облечь совершенный им политический переворот в традиционные исконно римские формы. Новый режим, уничтожив республику и поставив на ее место единоличную власть, широко пользовался республиканской терминологией для маскировки своей монархической сущности. И в документе, подводившем итоги многолетнего правления, Август называет себя восстановителем свободы римской республики. Отсюда обращение Ливия к начальным эпохам

---

<sup>47</sup> Намеки на них содержатся в *Praefatio*, где автор говорит о необходимости физического и морального улучшения римского народа и в IV, 20, 7, где историк называет Августа основателем и восстановителем всех храмов.

римского государства, временам зарождения «свободы».

Труд Ливия важен не только как наиболее полное собрание фактов политической и культурной истории. Он представляет интерес как идеологический документ эпохи. Подобно «Энеиде» Вергилия, это памятник времени Августа. Наиболее отчетливо это прослеживается при анализе религиозных, философских и моральных воззрений историка.

Ливий не был оригинальным мыслителем, и невозможно говорить о его вкладе в ту или иную философскую систему. Речь может идти лишь о степени влияния на него какого-либо философского течения. И здесь прежде всего обнаруживается его определенная зависимость от стоицизма в той форме, которая сложилась во II—I вв. до н. э. в трудах Панеция и Посидония. Отказавшись от ригоризма и бескомпромиссности древней Стои, эти философы приблизили стоицизм к потребностям римского государства и сделали упор на проблемы этики и морали. Влиянием стоицизма можно объяснить содержащееся в предисловии эсхаление высоких моральных качеств древнейших римлян и критику пороков, ведущих государство к упадку. Это как раз те пороки, которые осуждали стоики: жадность, изнеженность, страсть к роскоши, честолюбие. Но наиболее показательно для связи Ливия со стоицизмом понимание им традиционной римской религии и культа.

В оценке религиозных взглядов историка в научной литературе нет единства. Одни исследователи подчеркивают скептический рационализм Ливия и трактуют его интерес к религиозному церемониалу как чисто академический<sup>48</sup>. Другие, напротив, считают его искренне преданным старинной религии человеком<sup>49</sup>. Наличие столь противоречивых суждений само по себе свидетельствует о сложности проблемы религиозности Ливия.

Уже в предисловии, где излагаются установки автора и цель труда, историк счел нужным охарактеризовать свое отношение к религии. Он подчеркивает, что религиозные легенды и строгая история в идеале должны быть отделены друг от друга, а их смешение приличествует скорее поэтам, чем историкам (Praefatio, 7). Но в то же время он полагает, что применение этого рационалистического прин-

<sup>48</sup> Stübler G. Die Religiosität des Livius. Stuttgart—Berlin. 1941, S. 22 sqq.

<sup>49</sup> Kayanto J. God and Fate in Livy.—Ann. Univ. Turk., 1957, S. 164.

ципа к древнейшей истории нецелесообразно и обещает не утверждать и не опровергать сказаний. В пользу терпимого отношения к стремлениям римлян возвести свое происхождение к богам Ливий приводит своеобразный довод. «Военная слава римского народа такова, что назови он самого Марса своим предком и отцом своего родоначальника, племена людские и это снесут с тем же покорством, с каким сносят власть Рима». Это довод человека, знающего, что легенда о божественном происхождении римлян выгодна им самим, поскольку она удерживает подданных в покорности. Раз они терпят гнет римского оружия, им ничего не остается, как принять за действительность любую невероятную легенду. Все эти рассуждения показывают, что Ливий был далек от старинной наивной веры в богов.

О том же говорит способ передачи им многих древних легенд<sup>50</sup>. Так, сообщая о смерти Энея, который, согласно легендам, был после смерти причислен к богам и назван Юпитером-родоначальником, Ливий высказывает сомнение, «человеком ли надлежит именовать его или богом» (I, 2, 6). При изложении легенды о божественном происхождении близнецов (I, 4, 1—3) Ливий опускает известные Эннию и Фабию Пиктору детали легенды, касающиеся появления Марса в виде облака и сочетания его с весталкой. Он игнорирует и рационалистическое объяснение, что с ней сблизился неизвестный прохожий или переодетый Амулий и предоставляет слово самой весталке, объявившей отцом двойни Марса. При этом историк не исключает возможности того, что весталка могла назвать виновником своей беременности бога и потому, что для нее это более почетно (I, 4, 1).

Рассказ Ливия об обожествлении Ромула также отличается от версий других авторов большим рационализмом. У Энния, насколько мы в состоянии судить по изложению его версии Цицероном, Марс во время солнечного затмения и наступившего вследствие этого мрака спустился на землю и увел своего сына на небо<sup>51</sup>. Ливий ничего не говорит о затмении и описывает лишь непогоду и исчезновение Ромула и принятие его в число небожителей. При этом, как и в случае с рождением близнецов, историк ссылается на рассказ очевидца, некоего Прокула, встре-

<sup>50</sup> Stübli G. Op. cit., S. 7 sqq.

<sup>51</sup> Cic. De rep., I, 164; Plut. Rom., 27, 6; 28, 3.

тившего Ромула в новом его качестве и передавшего его слова, что он стал богом и взял на себя заботу о будущем Рима (I, 16, 3). Ливий намекает, что у Прокула так же, как и у весталки, могли быть особые причины объяснять исчезновение Ромула сверхъестественным путем, и в этом случае ответственность за такую передачу событий возлагается на информатора, а не на историка.

В ливиевой версии древней легенды о Ромуле мы без труда обнаруживаем черты, навеянные раздумьями о современных событиях и современной политической обстановке. Убийство Ромулом Рема истолковывается в духе отрицательного отношения современников к братоубийственным гражданским войнам. Подобно Ромулу, Август был, согласно официальной пропаганде, богом и сыном бога, т. е. обожествленного после смерти Цезаря. Как и Ромул, он считался основателем Рима, обеспечившим своему народу величие и власть над другими народами. Если можно говорить на основании всего сказанного о религиозности Ливия, то это — приверженность к вводимому в это время культу императоров, осознание, в интересах господствующего класса, необходимости обожествления носителей высшей власти. При этом присутствует и такая важная, с точки зрения современника, черта, как достижение с помощью религии успокоения народа, склонного объяснять свои несчастья действиями сенаторов, в случае с Цезарем действительно повинных в убийстве «бога».

Понимание Ливием современной обстановки не менее ярко проявилось в оценке второго римского царя Нумы Помпилия. В личности Нумы воплощены такие черты политики Октавиана Августа, как его стремление к миру, к законности и моральному возрождению римского общества, расшатанного гражданскими войнами. Современные читатели должны были узнать Августа уже в первых словах рассказа о Нуме как правителе, который с помощью права, законов и добрых нравов заново основал Рим, первоначально возникший как выражение силы (I, 19, 1). И тем более показательным является упоминание в главе о Нуме имени Августа в связи с рассказом о закрытии храма Януса (I, 19, 3).

В этой связи особый интерес представляет оценка Ливием легенды о близости Нумы с нимфой Эгерией: «Но так как, не выдумав чуда, нельзя было вложить этот страх в сердца людей, он делал вид, что у него по ночам бывают свидания с нимфой Эгерией; по ее же совету он учреж-

дает наиболее приятные богам священнодействия и ставит для каждого бога особых жрецов» (I, 19, 4—5). Здесь мы опять-таки встречаемся со скепсисом образованного человека по отношению к народным верованиям и в то же время с пониманием задач религии как средства для обуздания «невежественной толпы».

До Второй Пунической войны эпизодически, а после нее регулярно Ливий перечисляет явления, считавшиеся выражением воли богов и требовавшие принесения жертв или совершения религиозных церемоний. Можно ли признать интерес к продигиям свидетельством религиозности Ливия? На этот вопрос сам историк отвечает следующим образом: «Я очень хорошо знаю, что вследствие того же пренебрежения, которое побуждает в настоящее время не верить в предзнаменования богов — ауспиции не возвещаются и не заносятся в летопись. Напротив, когда я пишу о древних событиях, то не знаю, как у меня возникает древний образ мыслей, и я считаю как бы грехом признавать недостойным вносить в мою собственную летопись то, что разумные люди предпринимали публично» (XLIII, 13, 1—2).

Противопоставление собственного отношения к религии пренебрежению (*neglegentia*) ею позволяет думать, что Ливий допускал возможность того, что в ауспициях выражается воля богов. Но введение их в свое повествование он обосновывает желанием передать дух времени. Интерес к продигиям обусловлен важностью места, занимаемого ими в жизни римского народа. С помощью продигий дается характеристика морального состояния римского общества, бытовая обстановка. При этом очень часто Ливий объясняет продигии как естественные явления, которым толпа вследствие тревожного состояния или склонности к суевериям приписала религиозное значение. Так, чума, истолкованная как следствие гнева богов, на самом деле была вызвана резким изменением климата (V, 12, 2). Эта же болезнь «за отсутствием других видимых причин бедствия, была признана большинством как наказание за казнь Манлия» (VI, 20, 11). Перечисляя ряд продигий, Ливий восклицает: «В Кумах — вот до какой степени пустое суеверие припутывает богов даже к самым ничтожным случаям, — в храме Юпитера мыши изгрызли золото»<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Liv., XXVII, 23, 2. Ср. подобные оговорки: XXI, 62, 1; XXIV, 6, 2; XXVIII, 11, 1; XXIX, 14, 2.

В другом случае продигии толкуются как результат легковерия толпы: «Известия, получавшиеся из разных мест относительно знамений, возбуждали в умах людей новые религиозные сомнения. Поверили, что вороны не только содрали, но даже съели золото на Капитолийском храме, что в Антии мыши изгрызли золотой венок, все поля вокруг Капун покрыла масса саранчи, и оставалось неясным, откуда она явилась» (XXX, 3, 6).

Взгляд на мнимые религиозные явления толпы и отношение к ним историка не совпадают. Историк выступает в качестве критика этих явлений, хотя и не всегда сам в состоянии правильно объяснить естественный смысл явления, казавшегося толпе чудесным.

В отношении Ливия к судьбе ярче всего проявляется его зависимость от стоицизма с его провиденциализмом и фатализмом. Рассказ о наивной попытке обесчещенной весталки облагородить свой позор связью с Марсом предваряется следующим замечанием: «... но как мне кажется, судьба предопределила и зарождение столь великого города, и основание власти, уступающей лишь могуществу богов» (I, 4, 1).

О судьбе, неизменным законам которой подвластен человеческий род, говорится и в связи с битвой при Каннах (XXV, 6, 6). Во всех указанных случаях речь может идти не о риторическом употреблении слов *fatum* или *fata*, а о понимании Ливием судьбы как определяющего фактора человеческой жизни.

О том же частично свидетельствует употребление Ливием термина *Fortuna*. *Fortuna* Ливия мало чем напоминает древнеримское божество *Fors-Fortuna*. И в то же время она нередко отличается от понимания рока как слепото, неконтролируемого человеком жребия, какое мы встречаем в произведениях Саллюстия, Цезаря, Цицерона. *Фортуна* у Ливия часто является синонимом божественной силы. В этом значении она сближается с *fatum* и обнаруживает ту же близость к стоическому детерминизму. Но встречается и другое значение фортуны — случай, счастье, с которым сопоставляется доблесть (*Virtus*) человека. В этом значении *Virtus* и *Fortuna* — конфликт между возможностями человека, его духовной и физической мощью и противостоящими ему обстоятельствами — не рассматриваются как нечто непреодолимое. Смелый человек может заставить *Фортуна* служить себе, как об этом свидетельствует поговорка: *fortis fortuna adjuvat*, дважды при-

водимая Ливием (VIII, 29, 5; XXXIV, 37, 4), и другие подобного рода высказывания в его труде.

Философские, моральные и политические тенденции труда ярче всего сказываются в созданных Ливием портретах исторических деятелей. В них персонифицируется весь набор моральных добродетелей современной политической пропаганды и критики пороков общества эпохи гражданских войн. В отличие от Полибия, Ливий не выясняет исторических обстоятельств, которые ведут к возвышению и падению тех или иных исторических деятелей. Личность интересует Ливия не как продукт обстоятельств и эпохи, а как воплощение неких качеств, имеющих значение образцов для всех эпох. В этом ярче всего проявляется неисторический подход Ливия к своим задачам.

Как правило, Ливий не дает выдающимся личностям развернутых авторских оценок. Он прибегает к методу косвенной характеристики, восходящему к Фукидиду, Ксенофону и в конечном счете к приемам греческой трагедии<sup>53</sup>. Читатель знакомится с историческим персонажем по вкладываемым в его уста речам, по оценкам, даваемым ему современниками, и, наконец, по линии его поведения в соответствующей ситуации. Но в то же время, сообщая о смерти того или иного выдающегося человека, Ливий дает краткое резюме, указывая продолжительность его жизни, перечисляет занимаемые должности и главный результат его деятельности. Так, Камилл и Фабий Максим характеризуются как спасители государства, а Сципион Африканский как человек, выигравший войну с Ганнибалом. Согласно замечанию Сенеки, этот прием заключительной характеристики был выработан Фукидидом и применялся Саллюстием по отношению к немногим лицам, а Ливием — ко всем великим людям<sup>54</sup>.

Ливий нередко прибегает к выработанному эллинистической историографией приему сравнительной характеристики выдающихся лиц. Но в использовании этого приема он далек от присущей Полибию тонкости в мотивировке поведения своих героев. И здесь сказывается цель — создание произведения, возвеличивающего римский народ.

---

<sup>53</sup> И. Брунс отметил наличие двух подходов к оценке личности в античной историографии: первый — субъективистский, когда историк дает персонажу собственную оценку, и косвенный, когда эта оценка выявляется на историческом материале (Bruns J. Die Persönlichkeit in der Geschichtsschreibung der Alten. Berlin, 1898).

<sup>54</sup> Sen. Suas., VI, 21.

Критерием сравнительной оценки всех выдающихся чужеземцев является их отношение к Риму. Так два сицилийца — Гиерон и Гиероним характеризуются в соответствии со своей политической позицией — первый как добрый и мудрый правитель, а второй из-за своего перехода на сторону Ганнибала после Канн — как тиран и чудовище (XXI, 50, 8; XXIII, 37; XXIV, 4). Ливий забывает сказать, что «кровавому чудовищу» было 15 лет и что он правил всего лишь 13 месяцев.

От этой прямолинейности и односторонности Ливий отходит, рисуя портрет великого противника Рима Ганнибала. В его изображении Ганнибал — это сложная трагическая фигура. Он человек, вознесенный на вершину Фортуной и познавший на собственном примере непостоянство человеческого счастья. Встретившись со Сципионом перед битвой при Заме, Ганнибал сравнивает свое положение с положением Рима после Канн и заключает в духе стоической философии: «Менее всего надо доверять большому счастью» (XXX, 30). Рассматривая судьбу Ганнибала как пример изменчивости человеческого счастья, Ливий в то же время выставляет Ганнибала человеком, заслужившим свои беды собственным поведением. У Ганнибала нет страха перед богами, верности слову, он лжив, жесток, готов для достижения своей цели на любое преступление (XXI, 4, 9; XXI, 57, 14; XXIV, 45, 13; XXVI, 38, 3).

Сципион в описании Ливия теряет черты реального человека и становится воплощением всех мыслимых добродетелей. Главное из них это милосердие (*clementia*). Оно проявилось в его отношении к врагам — освобождении племянника Масинисы (XXVI, 19, 2), сострадании к испанцам Индибилигу и Мандонию (XXVIII, 34, 3), сердечном приеме послов греческих и азиатских городов (XXXVII, 3, 4). Характерно, что Ливий опускает отмеченную Полибием слабость Сципиона к женщинам и рисует его благородство по отношению к пленнице, подаренной ему солдатами в Испании. Для того чтобы возвысить своего любимца. Ливий сопоставляет благородство его души и милосердие с бескомпромиссностью брата Луция (XXXVII, 6 и сл.).

Описывая прошлое, Ливий наделял милосердием мифических и реальных героев, и идеальный гражданин политической пропаганды, сам милостивый и благочестивый Август, отражался словно в зеркалах в образах Энея, Ромула, Сципиона Африканского и многих им подобных

ходульных героев римского республиканского прошлого.

Результатом этой, как мы бы ее назвали, модернизации явилось искаженное изображение действительной римской политики и исторических персонажей. Ливий отбрасывает все компрометирующее в поведении завоевателя Греции Квинкция Фламинина и рисует его искренним поборником греческой свободы (XXXIII, 12, 7). Даже для одного из самых жестоких римских полководцев, завоевателя Сиракуз, Марцелла у Ливия находится оправдание. Марцелл будто бы отдал приказ при осаде города не причинять вреда свободнорожденным и заботиться о сохранении жизни Архимеда (XXV, 31, 7; XXV, 25, 7).

Главным героем исторического повествования является римский народ. Высшие его качества воплотились в государстве, которому Ливий произносит настоящий панегирик: «Впрочем, либо пристрастность к самому делу вводит меня в заблуждение, либо и впрямь никогда не было государства более великого, более благочестивого, более богатого добрыми примерами, куда алчность и роскошь проникли бы так поздно, где так долго и высоко чтили бы бедность и бережливость» (Praefatio, 11). Рассказывая о страшном поражении при Каннах, Ливий замечает: «Ни один народ не мог бы избежать гибели при столь горестных обстоятельствах» (XXII, 54, 10). Если чужеземец ведет себя благородно, то он, согласно Ливию, более похож на римлян, чем на свой собственный народ (V, 28, 3). Когда же он проявляет обман и хитрость, то он действует не по-римски (I, 53, 4).

Величие римского народа выявляется помимо этих, далеко не объективных оценок, в сравнении с другими народами, не обладающими его качествами. Ливий изображает карфагенян дикими и жестокими, приводит массу примеров вошедшей в поговорку «лунийской верности» (XXVI, 17, 16; XXI, 4, 9; XXVI, 6, 12 и др.). Галлы у него — народ легкомысленный и дикий, напоминающий более животных, чем людей (VIII, 14, 9; X, 10, 12; V, 44, 6; VII, 24, 5; V, 4, 1—3; X, 28, 3; XXII, 2, 4; XXVII, 48, 16; XXVIII, 17). Греки, в изображении Ливия, болтуны (VIII, 22, 8; XXXI, 14, 12; XXXVII, 49, 2—3).

Убежденность Ливия в превосходстве римского народа опирается прежде всего на исторический опыт, показавший, что ни один народ не смог противостоять римлянам и все вынуждены были склониться перед их фассами и топорами. Эта непобедимость римлян рассматривается как

результат особого покровительства богов, а не как результат исторических условий.

Когда в предисловии Ливий обещает описать деяния ведущего народа земли, не следует принимать его слова буквально. *Populus Romanus*, если вкладывать в эти слова значение «народная масса», занимает в труде Ливия третьестепенное место. В трактовке Ливия, как и других римских авторов, история делалась представителями нобилитета, и только они были ее подлинными героями. Их стойкости, мужеству, предусмотрительности римский народ обязан тем, чем он стал — победителем, властелином. Народная масса удостоивается упоминания только в связи с необходимостью обрисовать трудности, стоящие перед выдающимися людьми в осуществлении их планов возвышения римского государства. Спротивление народа замыслам его руководителей обычно изображается Ливием как фактор, препятствующий осуществлению стоящих перед государством задач. Но в ряде случаев историк показывает причины разлада (*discordia*) между народом и его предводителями. Здесь в историографию проникает линия, восходящая к Гракхам и другим представителям популяров, подчеркивавшим несправедливость того, что плодами одержанных народом побед пользуются одиночки-нобилы.

Восхваление Ливием «свободы» (так же как и похвалы Полибия по адресу «демократии») не дает оснований считать историка приверженцем демократии и защитником демократических идеалов. Под «свободой» он понимает повиновение законам республики и обычаям предков, и в этом отношении его понимание ничем не отличается от трактовки Полибием «демократии» как такого государства, «в котором исконным обычаем установлено почитать богов, лелеять родителей, чтить старших, повиноваться законам, если при этом решающая сила принадлежит постановлению народного большинства» (*Pol.*, VI, 4, 5). Там, где речь идет о народных массах, аристократические симпатии и предубеждения историка проявляются с полной ясностью. Отмечая изменение отношения народа к Валерию Попликоле, Ливий пишет: «Такова природа толпы, она или рабски служит или надменно властвует, а свободу, заменяющую середину между рабством и тиранией, она не умеет ни умеренно получать, ни умеренно пользоваться ею» (XXIV, 25, 8).

Антидемократические взгляды Ливия проявляются в отрицательном отношении к плебеям и народным трибу-

нам, в оценках политических деятелей и полководцев, выдвинутых народным собранием вопреки сенату. Гай Фламиний и Теренций Варрон изображаются как виновники поражений, а представители сенатской группировки как спасители Рима и подлинные герои.

Как мы видим, перед Титом Ливием не стояло задачи исследовать, какой была подлинная история ранних времен Рима. Он не обращался к первоисточникам, к тем надписям и древним актам, которые в его время можно было отыскать в государственных хранилищах и храмах. Он удовлетворился тем материалом, который содержался в трудах его предшественников — и на нем строил свое изложение истории, стремясь к тому, чтобы оно было живым, красочным и лишенным противоречий.



Сравнение Саллюстия и Ливия как авторов исторических трудов и мыслителей не навязано исследованию извне, а лежит в самой противоречивой природе их творчества, а если смотреть глубже, в различии двух сменяющих друг друга эпох. Саллюстий был историком времени гражданских войн, Ливий — первым историком эпохи империи. И так же, как империя выросла из гражданских войн, так и Ливий в значительной мере вырос из Саллюстия.

К тому времени, когда, испытывая отвращение к политической борьбе, Саллюстий удалился от дел и занялся написанием истории, Ливий был еще юношей и обучался в далеком от Рима Патавии ораторскому искусству. Они были разделены примерно таким же количеством лет, как Геродот и Фукидид. Но ни одна легенда не повествует о том, что юный муниципал явился в Рим, чтобы взглянуть на знаменитые сады, где прогуливался, раздумывая о судьбах Рима, знаменитый историк.

Ливий прибыл в Рим в тридцатилетнем возрасте, когда Саллюстий уже скончался, и его сады перешли новому владыке Рима. Отшумели гражданские войны, и установился мир, казалось бы, как никогда благоприятный для занятий историей. Это занятие не только приветствовалось, но и поощрялось. Написание Ливием исторического труда было своего рода выполнением заказа Августа, бывшего первым читателем каждой книги по мере ее написания.

Саллюстия и Ливия объединяет то, что оба они были историками-моралистами. Отход Саллюстия от политики на заранее подготовленные позиции историографии был осуществлен под прикрытием моральной философии, осуждающей само существование враждующих политических партий. Приход Ливия в историографию из-за отсутствия возможности заниматься политикой также мотивируется им как необходимость исправления нравов: «Мне хотелось бы, чтобы каждый читатель в меру своих сил задумался над тем, какова была жизнь, каковы были нравы, каким людям и какому образу действий — в мирное ли, в военное ли время, обязана держава своим зарождением и ростом; пусть далее он проследит, как в нравах появился сперва разлад, как потом они зашатались, пока не дошло до наших времен, когда мы ни пороков наших, ни лекарства от них переносить не в силах» (Praefatio 9, перев. В. М. Смирнина).

Ливий сознательно старался представить себя продолжателем традиции римского летописания. Он воспринимает погонную форму изложения материала и начинал повествование с основания города. Он наполняет свой рассказ заимствованными из жреческих книг сведениями о знамениях и чудесах, делая вид, что питает к ним доверие. Это был сознательный камуфляж, бронзировка под древность, в полной мере соответствующая политической линии нового режима, его ориентации на доблесть предков. Эти приемы таили в себе опасность переноса в прошлое собственных суждений о нем. Римское прошлое становилось таким, каким в нем нуждалась современность для решения стоящих перед нею задач.

Позиции Саллюстия гораздо сильнее. Он пишет о том, что осталось в памяти его поколения и поколения его отцов. Несмотря на «неримскую» форму своих трудов, Саллюстий больше римлянин, чем Ливий. Несмотря на все его реминисценции в духе Платона и стоиков в нем больше римского духа и римской непосредственности.

Противопоставление Саллюстия Ливию восходит к древней критике. В первом из историков видели продолжателя Фукидида, во втором — римского Геродота (Quint, Inst., X, 17). Разница между двумя парами однако в том, что их составляющие имеют обратный порядок. Римский Фукидид был предшественником римского Геродота. Потеря Ливием тех качеств, счастливым обладателем которых был Саллюстий, объясняется падением римской рес-

публики и вместе с нею духовной самостоятельности римских граждан.

Читая и сравнивая труды Цезаря, Саллюстия, Ливия, Веллея Патеркула, мы выявляем возможности художественного выражения, которые таит в себе латинский язык, но не всегда выделяем вклад каждого из этих историков в стиль латинской исторической прозы. Если поставить перед собой такую задачу, становятся очевидными наибольшие заслуги Саллюстия, можно сказать, обогатившего латинскую речь. Характеризуя стиль Саллюстия, Эд. Норден писал: «Выработку этого стиля можно назвать подвигом римской литературы, подобного которому нет в греческой»<sup>55</sup>.

Саллюстий не имеет себе равных в портретных характеристиках, дающих, несмотря на свою краткость, образ человека во всем своеобразии его внешних черт и неповторимости духовного облика. Здесь Саллюстий поднялся на уровень римского скульптурного портрета, если только сопоставимы литература и ваяние. Образы, созданные из несколько устаревшего, как бы поднятого из глубин народной речи лексического слоя, дают возможность почувствовать фактуру этого материала. Его внешняя шероховатость, грубость создают глубину и колорит<sup>56</sup>. В стиле Саллюстия нет ни малейшей выпренности, которая присуща стилю Ливия. Он новатор в подлинном смысле этого слова. Ближайший к Саллюстию великий римский историк и стилист, Ливий был не подражателем его, а скорее антиподом. Влияние стиля Саллюстия ощущается через поколение. Мы ощущаем его в «Римской истории» Веллея Патеркула, но особенно в «Анналах» и «Историях» Тацита, шедшего как стилист тем же путем и добившегося равно- великих успехов.

<sup>55</sup> Norden E.d. Die antike Kunstprosa, Leipzig. 1913, S. 67.

<sup>56</sup> Сходными чертами обладает стиль Фукидида. Анализируя предисловие к «Истории Пелопоннесской войны», Дионисий Галикарнасский пишет: «В этом слоге нет построений гладких и тщательно пригнанных, он не сладкоречив, не проскальзывает в слух неуловимо; нет, он обнаруживает немало неприятного, грубого, резкого, он нисколько не гонится за хвалебной или театральной прелестью, а являет красоту старинную и горделивую» (Dion. Hal. Comp. verb., 165, перевод М. Л. Гаспарова).

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

В 166 г. н. э. появился трактат, озаглавленный «Как писать историю». Его автором был Лукиан из Самосаты, «Вольтер классической древности», по меткому замечанию К. Маркса. В годы правления Марка Аврелия и его соправителя Луция Вера вряд ли кого-либо могло удивить, что поучать историков взялся человек, не написавший ни одного исторического труда. В середине II в. н. э. римская историография находилась в таком состоянии застоя и деградации, что ее, казалось, можно было привести в чувство разве лишь с помощью острой и беспощадной сатиры.

Целью Лукиана было не только показать духовное убожество современных ему историков (он это выполнил с присущим ему блеском), но и начертать позитивный идеал историографии, сформулировать ее теорию в соответствии с многовековой практикой создания исторических трудов. То, что автор дает рецепты не из собственного опыта, а заимствует их из произведений великих историков прошлого, несколько не снижает ценности его трактата, тем более, что это единственная сохранившаяся попытка подобного обобщения<sup>1</sup>. Перед нами произведение, позволяющее выявить теоретические аспекты античной историографии.

Содержание трактата Лукиана значительно шире его заглавия. Автор не просто дает наставления, как писать исторические труды, но пытается выявить специфику исторического жанра, определить, какими качествами должен

<sup>1</sup> Среди произведений Феофраста был труд «Об истории». Но отсутствие каких-либо сведений о его содержании не дает оснований называть Лукиана последователем Феофраста. Иного мнения придерживается Ф. Верли (Wehrli F. Die Geschichtsschreibung im Lichte der antiken Theorie.— Eumusia. Festgabe für Ernst Howald, 1947, S. 58).

обладать идеальным историком, обрисовать особенности стиля «историописания». Анализ и советы перемежаются критикой произведений современных Лукиану историков, рассуждениями о ценности теории. Некоторые положения, высказанные в одной главе, Лукиан повторяет в последующих главах, облекая их в более яркую форму. Давая систематическое изложение, мы, по примеру наших предшественников<sup>2</sup>, сгруппируем мысли Лукиана об истории по разделам и, где это возможно, попытаемся показать их зависимость от современной Лукиану социально-политической обстановки.

Специфика истории и ее задачи. Вопрос о специфике истории, ее отличии от родственных литературных жанров поднимался и разрабатывался на протяжении всего многовекового развития античной исторической мысли. Уже первый эллинский историк Гекатей из Милета противопоставил свой труд мифам (см. выше, с. 24). Фукидид, обосновывая научную направленность своего произведения, выступил против «поэтов, воспевавших события с преувеличениями и прикрасами, и против логографов, сложивших свои рассказы в заботе не столько об истине, сколько о приятном впечатлении для слуха» (1, 21, 1). Полибий на большом материале обосновал отличия истории от поэзии и ораторского искусства (см. выше, с. 124).

Варьирование тезиса о специфике истории, его повторение разными историками в различные эпохи объяснялось настоятельной необходимостью противостоять современным тенденциям антиисторизма. Во времена Лукиана наиболее типичным было смешение истории с панегирическими восхвалениями начальников и полководцев. Против него сатирик направляет острие своей критики: «Большинство историков, пренебрегая описанием событий, останавливаются на восхвалении начальников и полководцев, вознося своих до небес, а вражеских неумеренно унижая. При этом они забывают, что разграничивает и разделяет историю от восхваления не узкая полоса, а как бы огромная стена, стоящая между ними» (7)<sup>3</sup>.

Вслед за Аристотелем и Полибием Лукиан настаивает на коренном отличии истории и поэзии. «У поэзии и поэ-

<sup>2</sup> Прежде всего: Avenarius G. Lukianschrift zur Geschichtsschreibung. Frankfurt a/M., 1954.

<sup>3</sup> Цифра в круглой скобке обозначает главу произведения Лукиана «Как писать историю».

тических произведений, — пишет он, — одни задачи и свои особые законы, у истории — другие» (8).

Законодательницей поэзии является фантазия. Поэт создает мир образов, подчас гиперболических и нереальных. Законодательницей истории является истина: «Единственное дело историка рассказывать все так, как оно было» (39). Малейшее отступление от истины лишает автора права называться историком: «Истина является сущностью истории, и тот, кто собирается ее писать, должен служить только истине, а на все остальное не обращать внимания. Вообще у него может быть только одно мерило — считаться не с теперешними слушателями, а с теми, кто впоследствии будет читать его историю» (39).

Рекомендация писать только правду, думая о будущих читателях, со времени появления труда Фукидида переходит от одного историка к другому. Корнелий Тацит придает ей чеканную формулу латинской речи: (писать) без гнева и пристрастия (*sine ira et studio*). Но было бы в высшей степени наивным думать, что сам Тацит или кто-либо из его античных предшественников или последователей удовлетворил это требование и оставил нам труд, в полной мере свободный от политических симпатий и антипатий, от личной заинтересованности<sup>4</sup>.

Требование писать без гнева и пристрастия было для античных историков, как для историков вообще, недостижимым идеалом. Они должны были быть пристрастны, хотя им могло казаться, что они сделали все, чтобы исключить личные симпатии и антипатии. Необъективность античного историка лежит в самой природе гуманитарных знаний общества, разделенного на классы и раздираемого политической борьбой. Понимание этого обстоятельства важно не только для оценки античных историков, но, что не менее важно, для пользования их трудами как историческими источниками. Современным исследователям приходится постоянно иметь в виду, что в их распоряжении находится не сумма дошедших от античности фактов, а их интерпретация, данная под тем или иным углом зрения, с тех или иных политических позиций.

Подобно тому, как мы говорим о значении исторической науки, в древности говорили о пользе истории. Польза (*to chresimon*) однако, понималась не в теоретическом,

<sup>4</sup> О проблеме объективности в теории и практике античной историографии см.: Vogt J. Tacitus und Unparteilichkeit des Historikers.— *Orbis*, 1960, S. 110—127.

а в узко утилитарном смысле. По мнению Фукидида, первые поставившего вопрос о пользе истории, знание минувшего может пригодиться в будущем, когда данная ситуация «по свойству человеческой природы» может повториться «в том же самом или подобном виде» (Thuc., I, 22, 4). Развивая эту мысль, Полибий подчеркивает необходимость знания истории политическими деятелями и полководцами — людьми, которые должны принимать решения, сообразуясь с историческими ситуациями (Pol., XII, 25 b, 3; ср. III, 118, 2; IX, 1, 4—5). История учит на ошибках, совершенных в прошлом, и показывает, как их избегать. В то же время Полибий указывает и на морально-педагогический аспект этого вопроса — знание истории может дать утешение в бедствиях, обрушивающихся как на отдельных людей, так и на целые народы, демонстрируя их преходящий характер (Pol., I, 1, 2).

Лукиан не вносит в разработку проблемы пользы истории ничего нового. Он просто излагает точку зрения Фукидида, формулируя ее следующим образом: «если случится когда-либо что-нибудь сходное, быть в состоянии, сообразуясь с тем, что было ранее написано, правильно отнестись к современности» (42).

Античная риторика связывала с «пользой» истории другое ее свойство — «удовольствие» (*to terpon*), которое она доставляет слушателям или читателям исторических трудов. В рамках этих двух категорий — *to chresimon* и *to terpon* заключена вся амплитуда колебаний в оценках исторических трудов. Цицерон осуждает лишенный украшений стиль первых греческих и римских историков и видит историографический идеал в создании произведений, которые бы доставляли слушателям такое же удовольствие, как речь искусного оратора. Дионисий Галикарнасский еще дальше отходит от критерия «пользы» и задач истории как науки. Он осуждает Фукидида за то, что тот избрал темой «только одну войну, притом такую, которая не была ни славной, ни победоносной, не случись которой — было бы лучше, но раз она все-таки произошла, то потомкам о ней лучше не вспоминать, предав ее забвению и обойдя молчанием» (Dion. Hal. ad Romp., III, 768). Лукиан выступает против этого воинствующего антиисторизма, утверждая, что подлинное удовольствие может доставить только правдивое изложение событий: «У истории одна задача и цель — полезное, которое может вытекать только из истины... Если в истории случайно окажется изья-

шество, — она привлечет к себе многих поклонников, но даже если в ней будет хорошо выполнена ее собственная задача, то есть обнаружение истины, ей нечего заботиться о красоте» (9).

Каким должен быть историк. В древности качество исторического труда неизменно ставилось в связь с личностью историка, его способностью правильно понять смысл происходящих или происходивших событий, умением дать правдивую и нелицеприятную оценку тем, кто стоит у кормила государственного корабля. Иногда историк как бы экспонирует себя, доказывая читателям, что он обладает необходимыми качествами и условиями для правильного освещения своей темы. Так поступает Фукидид, давая характеристику своей работе над историей Пелопоннесской войны (Thuc., 1, 22). Но, как правило, наши представления об идеальном историке античного мира складываются из античной критики по адресу авторов, не справившихся со взятыми на себя задачами. Более всего такого критического материала содержит «Всеобщая история» Полибия. Недостатки трудов своих эллинистических предшественников Полибий объясняет неосведомленностью в государственных и военных делах, незнакомством с театром военных действий, необъективностью по отношению к политическим деятелям, сбивчивостью понятий о причинных связях (см. выше, с. 134). Полибий полагает, что историей должен заниматься государственный деятель либо человек, обладающий жизненным и практическим опытом.

Лукиан следует этим традициям в характеристике идеального историка. По его мнению, хорошо написать историю может лишь тот, кто «обладает государственным чутьем и умением излагать. Первому нельзя научиться, — оно является как бы даром природы, второе — достигается в значительной степени упражнениями, непрерывным трудом и подражанием древним» (34).

Под подражанием он понимает следование историографическим принципам классиков, а не внешнее копирование формы их трудов. В трактате приводится немало комических примеров рабского подражания. Некий «крайний последователь Фукидида» начал свой труд о парфянских войнах так же, как афинский историк, только заменив имя Фукидида своим и подставив иные этнонимы: «Креперей Кальпурниан Помпейполит написал историю войны парфян и римлян, как они воевали друг с другом, начавши

свой труд тотчас после ее возникновения» (15). Другой подражатель Фукидида, описывая захоронение римских воинов в Армении, заставляет полководца произносить речь, подобную той, которую Фукидид вложил в уста Периклу. И, оказываясь, он не был в этом одинок: «ведь все историки состязаются с Фукидидом, ни в чем не повинным в поражениях в Армении» (26).

Может ли теоретическая переподготовка исправить подобных историков и научить их писать историю так, как это делали Геродот и Фукидид? Лукиан дает на этот вопрос отрицательный ответ, заявляя: «Моя книжка не обещает сделать умными и проницательными тех, кто не обладает этими качествами от природы» (34). В то же время он оспаривает мнение, будто историография не нуждается в теории, и утверждает, что теория может оказаться полезной для людей, умных от природы, красноречивых и, главное, свободных в своих суждениях. «Пусть мне будет дан такой ученик! — риторически восклицает он, разумеется, не рассчитывая на то, что призыв достигнет адресата.

Методика исследования. Наиболее слабой стороной античной историографии была методика исследования. Подход античных историков к источникам носил наивный и дилетантский характер. Это явствует и из тех наставлений, которые Лукиан дает историкам. Он ограничивается общими фразами о собирании материала и его первоначальной обработке. Лукиан призывает историков собирать материал систематически, трудолюбиво и тщательно (47), но не раскрывает значения слова «материал» (*pragmata*). Судя по совету, «лучше всего брать то, при чем сам присутствовал и сам наблюдал» (47), под *pragmata* понимаются лишь собственные наблюдения историка и свидетельства очевидцев. Правда, можно думать, что Лукиан исключает документальные данные, поскольку речь идет о современных войнах, а не тех, какие происходили в прошлом и отразились в документах или письменных свидетельствах очевидцев. Но и другие античные историки, может быть, за исключением Полибия, не разграничивали письменные источники по характеру и методике работы над ними.

Интересна рекомендация Лукиана перед задачей историческому труду окончательной литературной формы написать *hupomnema* (48). Это греческое слово, идентичное латинскому *commentarium*, имеет смысл «записи, сделан-

ные по памяти» (или по свежим следам). М. Туллий Цицерон, уговаривая Луция Лукция написать историю своего консулата, давал в его распоряжение «записи всех событий» (*Commentarii regum omnium*). Г. Юлий Цезарь, назвав свое произведение *Commentarii de bello Gallico*, хотел подчеркнуть, что не претендует на ту законченность и художественность, которой должен обладать исторический труд. В этом смысле следует понимать совет Лукиана придать хуронпета внешнюю привлекательность, украсить их соответствующим языком, фигурами и ритмом (48).

Первоначальная запись фактов не является историческим трудом. Лукиан подчеркивает это, приводя в пример некоего Каллиморфа, лекаря шестой когорты копьеносцев, составившего «сухой перечень событий, вполне прозаический и низкого стиля, какой мог бы написать любой воин, следующий за войском... Он сделал подготовительную работу для какого-нибудь другого, образованного человека, который сумеет взяться за написание настоящей истории» (11).

Отбор фактов. «Настоящая история», в понимании Лукиана, требует прежде всего отбора фактов, отделения значительного от ничтожного. «Есть люди, — говорит Лукиан, — которые крупные и достопамятные события пропускают или только бегло упоминают о них, а вследствие неумения, недостатка вкуса и незнания, о чем надо говорить и о чём молчать, останавливаются на мелочах и долго и тщательно описывают их» (27).

Лукиан не первым увидел в отборе фактов одну из главных задач историка. Дионисий Галикарнасский также указывает, что «историк должен обдумать, что следует включить в свой труд, а что оставить в стороне» (*Dion. Hal.*, III, 722). Но поразительным образом греческий ритор в качестве примера неумения отобрать нужное приводит труд Фукидида, а в качестве идеального образца такого отбора называет книгу Геродота: «Ведь беря в руки его (Геродота. — А. Н.) книгу, мы не перестаем восторгаться им до последнего слова, дойдя до которого хочется читать еще и еще... Фукидид же, описывая только одну войну, напряженно и не переводя дыхания, нагромождает битву на битву, сборы на сборы, речь на речь, и в конце концов доводит читателя до изнеможения» (*Dion. Hal. Ibid.*).

В понимании главного и второстепенного Лукиан стоит неизмеримо выше Дионисия. Лукиан не считает излишним описание Фукидидом военных машин, укреплений Эпипол

или сиракузской гавани, и он указывает на их сжатость (57). «Правда, — замечает он, — в описании чумы Фукидид может показаться многоречивым, но всмотрись в суть дела, тогда ты увидишь его краткость: сам предмет своей важностью как бы задерживает его стремление вперед» (57).

В связи с формулировкой принципа отбора фактов рассматривается вопрос о роли в историческом труде географических описаний. «Больше всего надо проявлять сдержанность в отношении гор, стен или рек, чтобы не казалось, что ты, между прочим, хочешь высказать, и притом очень некстати, свое красноречие и, забыв об истории, занимаешься тем, что тебе ближе» (57). Это требование созвучно критике Полибием историков сирийской войны за их пристрастие к географическим описаниям, не имеющим прямого отношения к историческим событиям» (XXIX, 12, 4).

Лукиан, таким образом, выступает не против детализации изложения. Деталь, если она играет роль, например, характер гавани, где происходит сражение, или устройство военной машины, дающей перевес одной из сторон, — не может быть лишней. Сатирик выступает против такого рода детализации, когда историк, упоминая о важном сражении в семи строках, посвящает сотни строк одному из участников этого сражения, блуждавшему по горам в поисках воды (28).

Требования к форме исторического труда. Наставления Лукиана современным ему историкам могут показать ошибочность мнения о том, что в античной историографии имелся примат формы над содержанием. Как мы видели, историческим Лукиан считал лишь то произведение, которое дает истинное отображение событий. Но это не означает, что Лукиан безразличен к красоте выражения. Его трактат содержит массу советов, относящихся к форме исторического труда.

Античная историография, так же как духовная культура в целом, была теснейшим образом связана с искусством<sup>5</sup>. Эстетический канон, сложившийся в ходе развития искусства, оказал влияние на формирование представлений об идеальной форме исторического труда. Основа античного миропонимания — пластичность — сказывается в

---

<sup>5</sup> Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М., 1963.

суждении Лукиана о сходстве задач истории и ваяния: «Историк должен походить на Фидия и Праксителя или Алкмена или на какого-либо другого из мастеров, так как и они не создавали золота или серебра или слоновой кости... Их искусство состояло в том, чтобы должным образом использовать материал. Такова приблизительно и задача историка, хорошо распределить события и возможно отчетливее их передать» (42) <sup>6</sup>.

Из искусства приходит в практику и теорию античной историографии требование симметрии исторического труда. Подобно статуе, исторический труд должен иметь тело (soma) и голову (kephale), и эти части должны быть соразмерны (23). Под головой и телом подразумеваются предисловие и основная часть. Лукиан осуждает тех современных историков, которые пишут растянутые предисловия, не соответствующие протяженности и характеру основной части: со стороны это выглядит так, словно бы малютка Эрот в шутку напялил на свою головку огромную маску Геракла или Пана (23). В практике современной Лукиану историографии было и создание «безголовых тел», т. е. исторических трудов, лишённых предисловий. Творцы таких уродов оправдывали себя тем, что некоторые произведения Ксенофонта и других старых историков также не имели предисловий. Разбирая этот вопрос, Лукиан стремился доказать, что здесь рабское копирование невозможно. Некоторые труды классиков не нуждались в предисловиях, поскольку их содержание явствует из главной части труда (52). Другие имели предисловия, но такого рода, что при поверхностном рассмотрении могут показаться лишёнными предисловия (23).

Требование симметрии Лукиан распространяет не только на соотношение головной и основной части исторического труда, но и на все его содержание. Историк так же, как человек, созерцающий статую, должен обращать внимание не на детали, а на красоту и жизненную правду целого. Ничего, кроме насмешки, не могут вызвать такие исторические труды, в которых целые книги уделяются описанию щита императора, его мантии, сбруе его коня (27).

В соответствии с античным эстетическим каноном складываются требования к языку исторического труда. «Суж-

<sup>6</sup> За полвека до Лукиана историка сравнил с художником Плутарх. По его мнению, они имеют общие цели, хотя и отличаются материей (hyle) и способом подражания (de glor. Athen., p. 347 a).

дение его (историка. — А. Н.) пусть будет метко и богато мыслями, а язык ясен и достоин образованного человека — таков, чтобы им можно было наиболее отчетливо выразить мысль» (43). Историк, по мнению Лукиана, должен «как можно яснее и нагляднее представить дело, не пользуясь ни непонятными и неупотребительными словами, ни обыденными и простонародными, но такими, чтобы их понимали все, а образованные хвалили» (44).

Рассматривая язык современных ему исторических трудов, Лукиан называет некоего приверженца крайнего атицизма, который в своем стремлении к чистоте речи дошел до того, что стал передавать по-гречески семантику латинских имен. Сатурнин у него оказался Кронием (23). Такой пуризм кажется Лукиану смехотворным. Не меньший комический эффект вызывает стремление другого историка-«новатора» заменить в своем греческом тексте слова давно принятой греческой военной терминологии латинскими терминами (15).

Однако более всего прегрешений в языке допускают те историки, которые, желая возвыситься над тоскливой обыденностью, наполняют свои труды псевдопоэтическими сентенциями и образами. Упомянутый выше лекарь, автор путевых заметок, снабдил их предисловием, в котором, по образцу поэтов, обращался к Аполлону и доказывал свое право писать историю тем, что Аполлон является предводителем Муз, а Асклепий, покровитель медицины, — его сын (16). В произведении другого историка высокопарные обороты типа «вождь был полон дум, как лучше подвести свое войско к стене» соседствуют с просторечными выражениями. «Его работа, — замечает Лукиан, — напоминает мне комического актера, у которого одна нога обута в котурн, а другая в сандалию» (22).

Разобрав многочисленные примеры псевдопоэтизма в исторических трудах, Лукиан делает в высшей степени проницательное заключение: «Пусть все-таки язык историка не возносится над землей. Его должны возвышать и уподоблять себе красота и величие самого предмета. Он не должен искать необычных предметов и некстати вдохновляться — иначе ему угрожает опасность выйти из колеи и быть унесенным в безумной поэтической пляске. Надо повиноваться узде, быть сдержанным, памятуя, что «высоко парить» опасно и в речи. Лучше, когда мысли мчатся на коне, а язык следует за ними пешком, держась за седло и не отставая при беге» (45).

Наиболее удивляющей нас особенностью формы исторических трудов древности было обилие речей. У Фукидида речи составляют 30% всего дошедшего до нас текста «Истории Пелопоннесской войны». Много речей в трудах Ксенофонта и других историков IV в. до н. э. Перед нами не те речи, которые действительно произносились в народных собраниях, в советах старейшин, на поле боя перед воинами, а произведения самого историка, в лучшем случае (Фукидид) составленные с учетом характера того лица, которое могло бы произнести речь или произносило, но не оставило записи ее содержания.

Современные исследователи немало спорят о том, что лежало в основе стремления изложить историю не в форме монолога самого историка, а в виде действия, в котором исторические персонажи выступают не как немые статисты, а как актеры со своими ролями и масками. Не приходится отрицать влияния античной трагедии на формирование этой особенности исторических трудов. Но ведь и сама трагедия является порождением полисного строя и присущего ему образа мышления. Поэтому будет правильнее думать, что диалогическая форма исторических трудов — следствие все того же миропонимания, которое порождено полисом как специфической и неповторимой общественной и государственной организации. Живучести этой формы в эпоху, когда полис сменился монархией, способствовало то, что по-прежнему исторические произведения были рассчитаны на восприятие слушателя, а не читателя, и история стремится избежать монотонного изложения, внести в него живость и разнообразие.

Продолжала играть роль и традиция. Ее силу мы ощущаем в тех наставлениях, которые Лукиан дает современным историкам: «Если же понадобится, чтобы кто-нибудь произнес речь, прежде всего необходимо, чтобы эта речь соответствовала данному лицу и близко касалась дела, а затем и тут надо стремиться к возможной ясности; впрочем, здесь тебе представится возможность проявить твое знакомство с ораторскими приемами и красноречием (58). Лукиан не замечает того, что в его время диалогическая форма исторических трудов совершенно не соответствовала ни образу жизни, ни умонастроению подданных римской империи, давно уже привыкших к монологу императорских декретов и окрикам центурионов.

Лукиан, разумеется, далек от понимания подлинных причин упадка историографического жанра. Он объясняет

его глупостью историков, их легковерием, надеется, что с помощью наставлений в духе традиций старины привьет историкам вкус. Но так же, как нельзя сделать музыкантами людей, не обладающих слухом, так и невозможно было воспитать Фукидидов и Полибиев из тех, кто зависел от милостей императорского двора, жил в обстановке лести и сервильизма. Те же причины, которые вскрыты П. Корнелием Тацитом в отношении упадка ораторского искусства, действовали в эпоху принципата применительно к историографии. Если в I в. до н. э. первоначально еще имелись немногочисленные самоубийственные попытки писать современную историю правдиво, то вскоре стало опасным заниматься и древней историей, поскольку в сочувственном изложении старины усматривалось порицание современности и отыскивались политические намеки. Упадку античной историографии способствовало и христианство, для пропагандистов которого имела значение лишь «священная» история, а история языческая воспринималась как история греховных поступков и заблуждений.

Выделенные нами общие линии развития античной исторической мысли, разумеется, не охватывают всего ее богатства. Однако этого вполне достаточно, чтобы убедиться в ошибочности мнения неокантиантски и экзистенциалистски мыслящих исследователей, противопоставляющих «историзм» Библии провозглашенному ими «антиисторизму» античной историографии.

Что касается нашей исторической науки, то правильно-му пониманию места и значения античной историографии мешало и в значительной степени продолжает мешать абсолютизация грани между научной и «донаучной» исторической мыслью. Разумеется, было бы ошибочным не замечать поверхностности античной исторической мысли, неспособности проникнуть в глубину общественных явлений. Но эти и другие исторически обусловленные дефекты античного исторического мышления не дают основания отрицать существования в древности истории как науки и предшественницы историографии нового времени. В своем прогрессивном развитии она опирается на Фукидида и Полибия, так же как медицина и естествознание на Гиппократ и Аристотеля.

## ЛАТИНСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ

Apollod.	Аполлодор «Библиотека».
App. Syr.	Аппиан «Сирийская история».
Arist. Ath. pol.	Аристотель «Афинское государственное устройство».
Eth. Nic.	«Этика Никомаху».
Poet.	«Поэтика».
Pol.	«Государство».
Rhet.	«Риторика».
Athen.	Афиней «Ученые за столом».
Cic. Att.	Цицерон «Письма к Аттику».
Brut.	«Брут».
De div.	«О гадании».
Or.	«Оратор».
De or.	«Об ораторе».
Mur.	«За Мурену».
Rep.	«О государстве».
CIL	Corpus Inscriptionum Latinarum — «Свод латинских надписей».
Diod.	Диодор Сицилийский «Историческая библиотека».
Dion. Hal. Comp.	Дионисий Галикарнасский «О составлении слов».
Jud. de Thuc.	«Суждение о Фукидиде».
Fest. 376 M.	Фест «О значении слов», с. 376 изд. Мюллера.
FGH	Фрагменты греческих историков.
Flor.	Флор «Эпитомы Ливия».
Hecat.	Фрагменты Гекатея.
Hell.	Фрагменты Гелланика.
Herod.	Геродот «История».
Hesiod. Theog.	Гесиод «Теогония».
Frg.	«Фрагменты».

Hom. Il.	Гомер «Илиада».
Od.	«Одиссея».
Hyg. Fab.	Гигин «Сказания».
Jos. C. App.	Иосиф Флавий «Против Аппиона».
Liv.	Тит Ливий «История Рима от основания города».
Luc. Hist. Scrib.	Лукиан «Как писать историю».
Macr. Sat.	Макробий «Сатурналии».
Philostr. Imag.	Филострат «Картины».
Plat. Krit.	Платон «Критий».
Leg.	«Законы».
Rep.	«Государство».
Tim.	«Тимей».
Plin. N. H.	Плиний Старший «Естественная история».
Plut. Cic.	Плутарх «Цицерон».
Rom.	«Ромул».
Sol.	«Солон».
Thes.	«Тезей».
Pol.	Полибий «Всеобщая история».
Quint. Inst.	Квинтилиан «Воспитание оратора».
Sall. Cat.	Саллюстий «Заговор Катилины».
hist.	Фрагменты «Историй».
Iug.	«Югуртинская война».
Sen. Suas.	Сенека Старший «Увещевания».
Serv. Aen	Сервий «Комментарии к Энеиде».
Serv. auct.	Расширенный Сервий «Комментарии к Энеиде».
Suet. Claud.	Светоний «Клавдий».
Gramm.	«Грамматика».
Tac. Ann.	Тацит «Летопись».
Thuc.	Фукидид «История».
Vell.	Веллей Патеркул «История».
Verg. Aen.	Вергилий «Энеида».

## ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора . . . . .	3
Глава I. Первые греческие историки . . . . .	7
Глава II. Геродот и Фукидид. Опыт сравнительной характеристики . . . . .	34
Глава III. Платон и миф. Аристотель и история . . . . .	81
Глава IV. Эллинистическая историография. Полибий . . . . .	118
Глава V. Римская историография. Саллюстий и Ливий . . . . .	151
Заключение. Теоретические аспекты античной историографии . . . . .	198
Латинские сокращения . . . . .	210

ИБ № 249

**Александр Мосифович  
Немировский**

### **У ИСТОКОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Редактор В. А. Муконина.  
Обложка художника Е. Я. Пошивалова.  
Художественный редактор А. Е. Смирнов.  
Технический редактор Ю. А. Фосс.  
Корректор Н. В. Плахина.

ЛЕ00345. Сдано в набор 27. 03. 79. Подп. в печ. 15. 06. 79. Форм. бумага 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага типографская № 2. Литературная гарнитура. Печать высокая. Усл. п. л. 11,1. Уч.-изд. л.12,2. Тираж 3500. Заказ 8429. Цена 1 р. 10 к.

Издательство Воронежского университета  
Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8.  
Типография издательства «Коммуна».  
Воронеж, пр. Революции, 39.